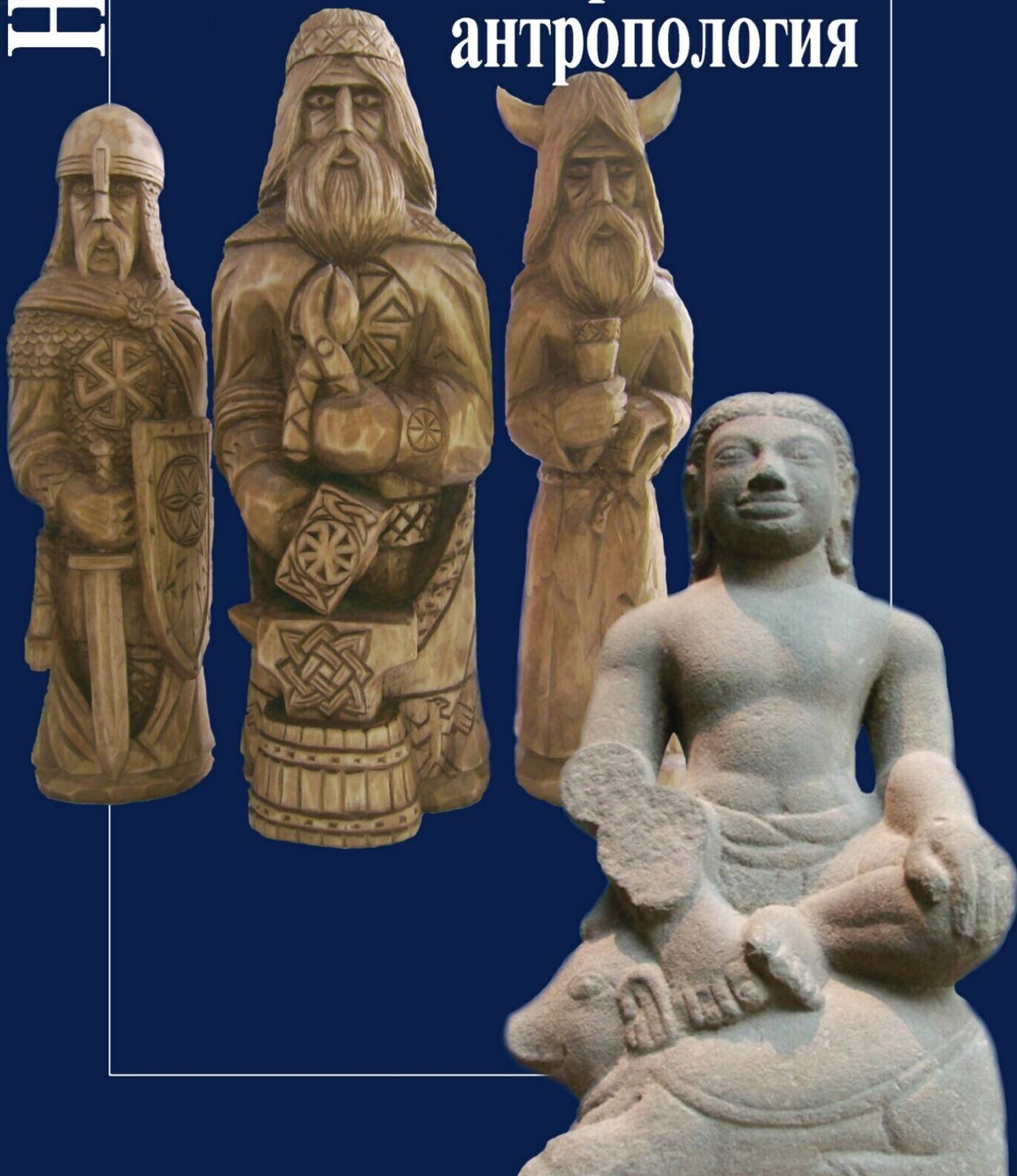


Humanitas

Владимир Романов

Культурно-  
историческая  
антропология



Humanitas

Владимир Романов

**Культурно-историческая  
антропология**

«ЦГИ Принт»

2014

УДК 13(082.1)

ББК 87

**Романов В. Н.**

Культурно-историческая антропология / В. Н. Романов — «ЦГИ  
Принт», 2014 — (Humanitas)

ISBN 978-5-98712-130-6

Предлагаемая книга посвящена разработке нового понимания научного гуманитарного опыта и основывающегося на этом понимании альтернативного объективистскому антропоцентричного подхода к исследованию культуры. Проведенный в рамках этого подхода анализ этнографических материалов традиционных обществ, с одной стороны, и древнеиндийских текстов ведийского и поздневедийского периодов — с другой, позволил выявить два типа культур, симпрактических и теоретических, кардинально различающихся между собой как по способу трансляции информации, так и по работе сознания ее носителей. Разведя предварительно культуры по двум этим типам, автор встраивает их затем в единую историческую перспективу. Согласно выдвинутой в работе гипотезе, можно говорить об общем векторе развития — от культуры первого типа к культуре второго, причем решающие сдвиги, предопределившие становление отдельных цивилизаций в их каждый раз конкретной содержательной определенности, следует, по всей видимости, отнести к эпохе древности. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

УДК 13(082.1)

ББК 87

ISBN 978-5-98712-130-6

© Романов В. Н., 2014

© ЦГИ Принт, 2014

# Содержание

Вспоминая Романова	8
Работы В. Н. Романова	14
Предисловие	15
Часть I	19
Введение	19
Глава 1	26
Глава 2	31
Глава 3	44
Заключение	50
Часть II	54
Введение	54
Глава 1	56
Глава 2	65
Конец ознакомительного фрагмента.	77

# **Владимир Романов**

## **Культурно-историческая антропология**

Главный редактор и автор проекта «Humanitas» С. Я. Левит

Заместитель главного редактора И. А. Осинская

Редакционная коллегия серии: Л. В. Скворцов (председатель), Е. Н. Балашова, П. П. Гайдено, И. Л. Галинская, В. Д. Губин, Б. Л. Губман, П. С. Гуревич, А. Л. Доброхотов, Г. И. Зверева, А. Н. Кожановский, И. В. Кондаков, Л. А. Микешина, Ю. С. Пивоваров, И. И. Ремезова, А. К. Сорокин, П. В. Соснов

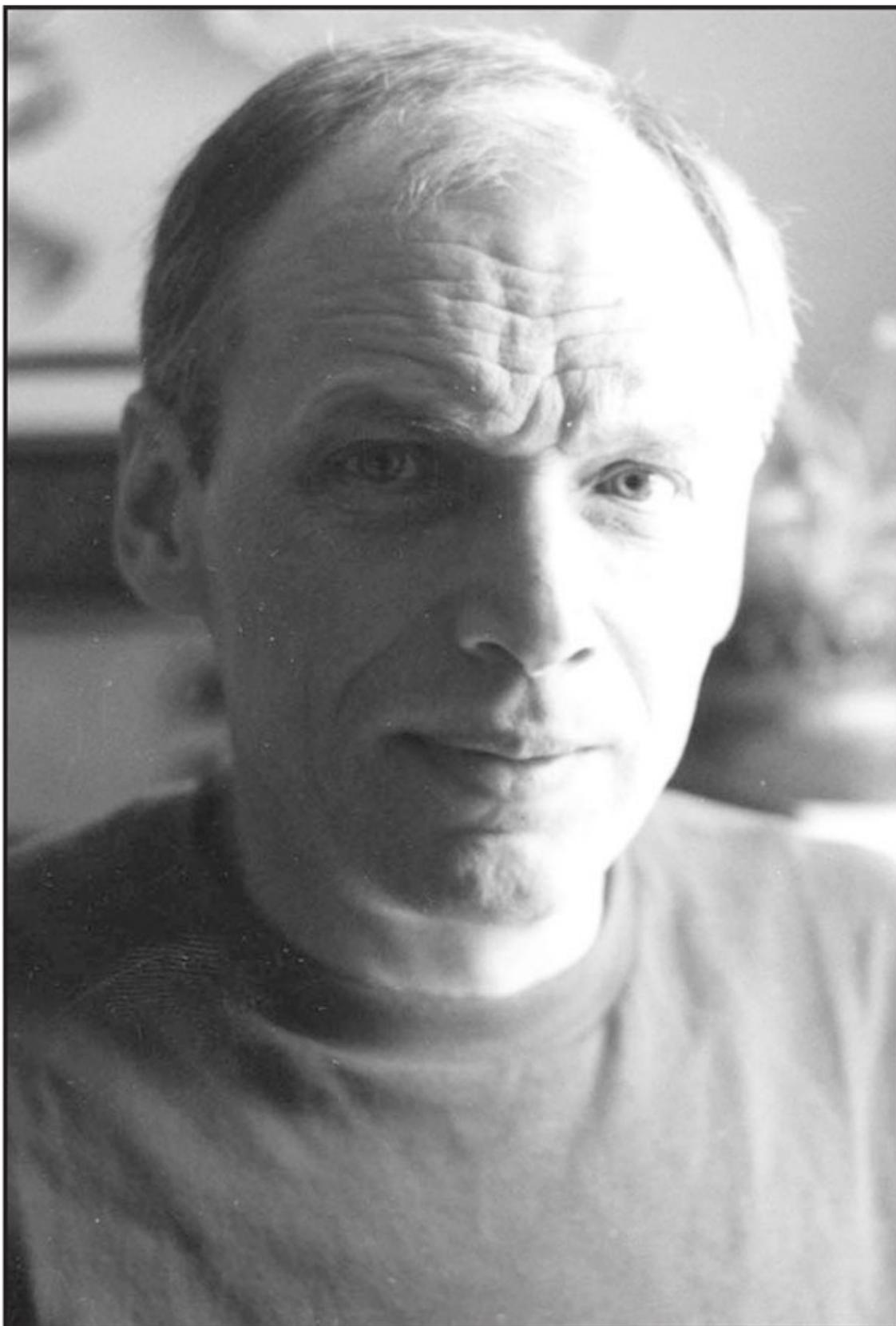
© Левит С. Я., составление серии, 2014

© Романов В. Н., 2014 © Центр гуманитарных инициатив, 2014

\* \* \*

Серия основана в 1999 г.

В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты Центра гуманитарных научно-информационных исследований Института научной информации по общественным наукам, Института российской истории, Института философии Российской академии наук



Владимир Николаевич Романов (12.IV. 1947 – 22.XI.2013)

## Вспоминая Романова

Осенью 1970 г. на вечернем отделении Истфака МГУ появился студент В. Романов. На его зачетной книжке красовалась фотография в солдатской форме. Позднее я узнал, что после окончания школы в 1965 г. он учился два года в Менделеевском институте. Учился весьма успешно (хотя не без удовольствия рассказывал о своих «бесчинствах» тех лет), но вскоре понял, что его интересы лежат отнюдь не в области химии, и отправился в армию. Эту пору своей жизни он вспоминал не без юмора, но временами и с ностальгией. Удивительные вещи случались в те, уже далекие, времена. Рядовой Романов в армейской библиотеке обнаружил перевод упанишад и читал его с увлечением. Он еще и подумать не мог, что исследование подобных текстов станет делом его жизни.

Вернувшись со службы в 1969 г., устроился работать. И по первому месту работы в графе «профессия» его трудовой книжки с тех пор значилось: «бетономешальщик». (Те, кто слушали его лекции по истории культуры, очевидно, не подозревали, какая у профессора профессия.) На истфак его привел интерес к недавней отечественной истории – хотел разобраться в том сломе, который произошел в первой трети XX века. Он предполагал специализироваться по истории КПСС... Правда, мне не стоило большого труда продемонстрировать ему наивность этих планов. Но подобная затея вовсе не была случайностью. Мне кажется, что при всем разнообразии тем, над которыми В. Н. Романов впоследствии работал, основной для него проблемой был проклятый вопрос: «Что же такое с нами происходит?» К феномену советской культуры он постоянно, иногда неожиданно, возвращался и в публикациях, и в разговорах.

Я вел в этой группе семинар по истории Древнего мира и помню, как меня поразила его курсовая работа. Она была едва ли не самой краткой, какую мне приходилось читать. Уже тогда ему был свойствен тот сжатый, густой стиль изложения, который хорошо знаком читателям позднейших публикаций. Вовсе не было лишних слов – а, честно говоря, иногда не хватало и необходимых. Но главное было не в форме изложения, а в том, что Романов всегда находил совершенно нетривиальный подход к проблеме. Из-за этого могли быть и осложнения. Володя как-то, смеясь, рассказывал мне, что на вступительных экзаменах за сочинение по «Войне и миру» ему поставили тройку, потому что там не было привычных цитат. И лишь на устном экзамене другой (видимо, более толковый) экзаменатор, прочитав работу, настоял на том, чтобы оценку повысили хотя бы до четверки. Эпизод характерный: сочинения на вступительных экзаменах всегда поражали меня убожеством мысли. И, конечно, дело не только в том, что ребята в школе не научились писать и думать. Они – и не без оснований – были уверены в том, что свежесть мысли не требуется, то есть они приспособлялись. Приспособляться Романов вовсе не мог.

Как мыслящая личность Володя сложился до университета. Но я знаю, что именно систематические семинарские занятия приучили его к исследовательской работе. Он высоко ценил ту школу анализа первоисточников, которую получил на истфаке, – и в этом отношении со свойственной ему резкостью противопоставлял наш факультет другим, где ему приходилось потом работать. Он занимался философией и теорией культуры, обращался к лингвистике и психологии, но всегда ощущал себя прежде всего историком.

Могу признаться, что намерение Романова специализироваться по кафедре истории Древнего мира и заниматься Древней Индией под моим руководством сильно смутило меня. Я был лишь на полгода старше его и вовсе не был уверен в том, что могу быть по-настоящему полезен этому яркому, талантливому студенту.

Меня тогда интересовали, по преимуществу, источниковедческие проблемы изучения древнеиндийских шастр. Но Володе – и в то время, и позднее – памятники классического индуизма были совершенно чужды. Его влекла эпоха более древняя – поздневедийская. В конце

концов, мы остановились на архаичной дхармасутре Апастамбы. Он должен был подготовить полный перевод памятника вместе со средневековым санскритским комментарием Харадатты. Старый английский перевод дхармасутры, конечно, мог быть ему подспорьем, но комментарий никогда не переводился – и здесь нужно было идти целиною.

В студенческие годы В. Романов работал в Ленинке – грузчиком, доставлявшим тележки с книгами в переплетную мастерскую. Первоначально он выбрал это место работы потому что оно давало ему возможность читать советские газеты и брошюры двадцатых годов – то, что в других местах было бы недоступно. Но потом обнаружилась большая польза и для индологических штудий. Володя был человеком в высшей степени организованным. С раннего утра он приступал к работе и за пару часов выполнял все поручения, а затем целый день мог заниматься – вся необходимая литература была под рукою. Труд был значительный. Лишь неопытный, вроде меня, преподаватель мог поставить перед студентом подобную задачу. Позднее, когда его интересы переместились в сторону далекую от Индии, он как-то сказал мне не без досады: «Сколько напрасного труда я потратил на этот перевод...». Но я не думаю, что труд в конечном счете оказался напрасным. Переведя несколько сот страниц традиционного санскритского памятника, В. Н. Романов приобрел неоценимый опыт проникновения в текст. Уверен, что этот опыт пригодился ему спустя много лет.

Ближайшим результатом исследования Апастамбы стала работа о композиции дхармасутры. Она была доложена на конференции и стала частью нашей общей статьи (мне в этой статье принадлежал разбор композиции другой дхармашастры – Ману-смирити). Подход В. Н. Романова к проблеме построения дхармасутры, как всегда у него, отличался свежестью мысли. С его точки зрения, последовательность изложения дхармы ученика соответствовала обряду посвящения – упанаяны, а санскритский текст являлся вербализацией ритуальной деятельности. Здесь можно обнаружить ядро одной из общих концепций, которую он развивал в последующие годы.

Я затеял публикацию общей с В. Н. Романовым статьи не в последнюю очередь из прагматических соображений, чтобы помочь ему устроиться на работу в академический институт. С помощью Г. Ф. Ильина и Г. М. Бонгард-Левина это удалось – с 1976 г. он стал работать в Отделе Древнего Востока в Институте востоковедения. Академическая действительность того времени представляла собою нечто весьма своеобразное. Едва ли не единственное поручение, которое получил новый сотрудник (о чем он рассказывал со смехом), было: с помощью бумаг от академического начальства раздобыть дефицитный голубой финский унитаз для квартиры заведующего отделом.

Скромная зарплата давала возможность заниматься наукой – тем, кто любил такие занятия и был способен им предаваться. В. Н. Романов, как и в студенческие годы, много читал. Его небольшие статьи о дхармасутрах и о композиции Махабхараты требовали самой тщательной проработки обширных санскритских текстов и научной литературы.

Ценил он и общение с коллегами по Отделу, где работало несколько серьезных ученых – как ровесников Романова, так и людей старшего поколения. Из последних особенно близок ему был Г. Ф. Ильин. На первый взгляд, это могло бы показаться странным, ибо основные интересы Григория Федоровича (проблемы рабства и социального строя Древней Индии) вовсе не были близки Романову. По традиционной для советской историографии теме у Володи была лишь одна статья, в которой затрагивалась проблема собственности. Но рассматривалась она в чисто романовском ключе: речь шла не об *отношениях собственности*, а об *отношении к собственности* древних индийцев.

Григорий Федорович был человеком не только думающим, но и безукоризненно честным в науке и в жизни. Думаю, что именно это привлекало к нему Романова. Когда в 1985 г. Г. Ф. Ильина не стало, один из молодых сотрудников Отдела прокомментировал это так: «Ну вот, одним сторонником рабовладельческой формации стало меньше». Рассказывая об этом,

Володя сжимал кулаки: «Если бы я в тот момент был в Отделе, я бы просто дал ему по роже». Верю, что так и было бы – видел как-то его кулак, разбитый о зубы коллеги по академическому институту.

Из более молодых сотрудников отдела В. Романов был дружен с будущим президентом Абхазии, хеттологом Владиславом Ардзинбой. Слава однажды взял его с собою на родину – и Володя был в восторге от того, что мог наблюдать живую традиционную культуру. Тогда в его публикациях появился абхазский этнографический материал. В. Н. Романова все больше занимали общие проблемы теории культуры. На этой почве он сблизился с коллегами того же поколения, работавшими в ИВАН, – главным образом с китаистом Г. А. Ткаченко (называю лишь тех, кого уж нет).

Основные свои идеи он изложил в кандидатской диссертации и в монографии «Историческое развитие культуры» (позднее она вышла в свет в сильно переработанном и более полном виде). Центральной идеей работы было противопоставление двух типов культуры. Один из них – дописьменный или бесписьменный – предполагал передачу информации в ходе самой деятельности (как выражался автор, симпрактически). Второй, связанный со школьным обучением и вербализацией опыта, был назван теоретическим. В связи с разработкой этой глобальной проблемы В. Н. Романов должен был погружаться в научную литературу, весьма далекую от его профессиональной специализации. Ему приходилось овладевать лингвистикой и психологией, он прошел через увлечение трудами Л. С. Выготского и его школы, Н. А. Бернштейна, А. А. Ухтомского. В связи с изучением традиционной культуры на отечественном материале он увлеченно штудировал публикации по фольклористике и этнографии, просматривая годовые подшивки дореволюционных журналов.

В. Н. Романов ставит вопрос о том, на какой основе происходит формирование «теоретической культуры» в разных цивилизациях. С его точки зрения, в Индии решающую роль в этом процессе сыграло осмысление ритуала в поздневедийских текстах брахманической прозы. А в греческом мире столь же значимую роль сыграли совершенно иные факторы, прежде всего, становление театра. От того, на основе чего формируется конкретная культура, зависит ее язык – те тексты, которые в принципе могут в ней возникать. Идею «потенциального текста культуры» В. Н. Романов развивал в тех лекциях, которые он много лет читал на кафедре истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ. Он говорил об этом в программной статье, опубликованной в сборнике «Три подхода к изучению культуры» (1997). Сборник этот был подготовлен Институтом мировой культуры МГУ, в котором В. Н. Романов проработал (после ухода из Института востоковедения) с 1993 по 2001 год.

Чтение общих курсов и занятия со студентами кафедры истории и теории мировой культуры побуждали В. Н. Романова заниматься кругом проблем далеких от индологии: античной философией, средневековой схоластикой, наукой Нового времени и – давнее его увлечение – особенностями советской культуры и психологии советского человека. Одно время он был твердо уверен в том, что к индологии больше не вернется. Как всякий человек, вторгающийся в смежные области науки, он провоцировал критические замечания специалистов. Нередко его воспринимали как какого-то самоучку, который пытается до всего добраться собственным умом и проверить личным опытом.

В. Н. Романов отказывался выступать на индологических конференциях – и даже не посещал их. Зато он очень любил междисциплинарные семинары, в которых участвовали исследователи, занимавшиеся разными культурами и, так же как и он сам, тяготевшие к решению теоретических вопросов. Там он охотно делал сообщения и живо откликался на выступления других. Идеальным участником дискуссий он не был. Страстно увлеченный той или иной идеей, он стремился донести ее до слушателей, но не всегда был готов понять то, что его представлениям решительно противоречило. От оппонентов он ждал подтверждения своих мыслей и готов был на развитие и уточнение этих мыслей – но не более. Возражения коллегам нередко

облекал в резкую форму – вполне вероятно, что не всегда справедливо, но всегда за этим стояла преданность истине. Ему было глубоко враждебно научное бесстыдство – щегольство пустой эрудицией или красивыми схемами, не имевшими серьезных доказательств. От каких-то идей он мог со временем отказаться – и тогда о себе самом отзывался так же резко (порою в простонародных выражениях).

Романовские мысли и наблюдения редко можно назвать бесспорными, но они не бывают тривиальными, заезженными, повторяемыми за кем-то по инерции. Помню, как-то мы с ним беседовали о том, что иногда именно заблуждения оказываются предпосылкой настоящих открытий. После того, как открытие сделано, можно и отбросить заблуждение, найдя более верный и надежный путь. Это вполне применимо к его собственным работам – если бы ему суждено было прожить дольше, что-то было бы развито, а другое оставлено и забыто. Самое ценное у Романова – его неугомонная творческая мысль. Он жил своими исследованиями и, думаю, никогда не мог полностью от них отвлечься – не только в преподавании, но и в дружеских беседах за рюмкой вина или в любимых им деревенских, крестьянских занятиях. Именно этим объясняется характерная черта его работ: читатель нередко находит здесь неожиданные ссылки на личный опыт и переход от ученых материй к «низовой» или бытовой стороне жизни.

В последние годы жизни В. Н. Романов вернулся к исследованию санскритских текстов. Уйдя из МГУ в 2006 г., он стал профессором РГГУ в Центре сравнительного изучения культур Востока и Запада (Институт восточных культур и Античности). Он давно пришел к выводу, что наиболее творческим периодом в истории древнеиндийской цивилизации была та эпоха, когда создавались поздневедийские тексты, так называемая брахманическая проза. Обширные памятники данного жанра переводились преимущественно в конце XIX и в начале XX века. При этом нередко исследователи жаловались на туманность изложения и хаотичность построения трудов древнеиндийских ритуалистов. В историографии им уделялось несравненно меньше внимания, чем упанишадам, в которых усматривали истоки классической индийской философии.

В. Н. Романов успел напечатать переводы двух книг наиболее обширной и важной брахманы – Шатапатхи. Значительные фрагменты этого памятника были переведены и еще ждут публикации. Во вступительных статьях и обширных комментариях дан анализ терминологии и продемонстрирована значимость деятельности авторов брахманических текстов для формирования той культуры, которую автор называл «теоретической». Сама логика построения брахман была им выявлена и убедительно продемонстрирована – таким образом изучение всей поздневедийской культуры поднято на новый уровень.

Владимир Николаевич не планировал полный перевод Шатапатха-брахманы. Важнейшей задачей для него была выработка языка и стиля перевода. Ему необходимо было вскрыть тот круг ассоциаций, который был актуальным для создателей брахман, а потому он с пристальным вниманием изучал не только сам ведийский ритуал, но и ту повседневную реальность, в которой жили и творили ритуалисты. Романов воинственно относился к попыткам вносить в интерпретацию брахманической прозы туманный мистицизм. В его переводах древнеиндийские мыслители говорят языком не похожим на язык немецкой профессуры позапрошлого века – зачастую выражаются по-мужицки грубо, иронизируют, порою употребляют слова и образы, которые способны шокировать рафинированную публику. Но при этом у вдумчивого читателя появляется уверенность, что именно здесь они, действительно, говорят своим голосом. В. Н. Романов любил рассуждать о диалогической природе гуманитарного знания. А в последних работах он словно беседовал с ведийскими риши, понимая то, что они хотели и могли сказать на языке своей культуры. Диалог этот был трагически прерван.

*А. А. Вигасин*

Кончина Владимира Николаевича Романова – для меня большая утрата и неожиданный удар. Я бываю в Москве наездами, раз в год по сентяблям, а остальное время живу далеко от Москвы и нередко скучаю по своим старым друзьям и коллегам. Нынешние скайпы и мейлы в большой мере скрашивают мне нехватку общения с ними, однако Володя – единственный из всех близких мне людей – не пользовался ни тем, ни другим, и не из какого-то надуманного снобистского принципа. Сам он на мой вопрос «какой у тебя адрес в мейле и скайпе» отвечал легким сожалеющим пожатием плеч. «Нет, я понимаю, ты живешь далеко, тебе все это очень важно», – спешил он оправдать меня и оправдаться сам. Думаю, что все эти новейшие и, на мой взгляд, замечательные технические возможности ему виделись не более чем симуляцией, чем-то вроде искусственных фруктов из пластмассы, а он, как никто, был естественен, прям, честен и саморавен.

При этом он вовсе не был человеком, который может пойти на бестактность ради того, чтобы полнее выразить то, что считает за истину, он был тактичен, чуток и бережен к собеседнику, но – никогда не кривил душой.

Впервые я познакомилась с ним на семинаре в Институте востоковедения, где мы оба работали, еще в 80-е, когда большие перемены в нашей стране еще только начинались. Многие из нас (говорю прежде всего о себе) тогда ожидали новых методологических и эвристических горизонтов, хотя еще не могли предугадать, каковы они будут – эти новые измерения и энергии нашей будущей научной деятельности, с которой постепенно спадали идеологические ограничения и запреты. Большинство в нашей компании были «древники» и медиевисты; мы, в отличие от «современщиков», благодаря сделанному нами выбору периода исследований избегли необходимости все время провозглашать классовость своих позиций и через каждое слово поминать классиков марксизма-ленинизма. Нам было позволено несколько больше «отклоняться» и в теоретическом, и в методологическом отношении. Все мы к тому времени привыкли жить достаточно замкнуто в своих герменевтических мирах, и теперь нагрянувшая свобода писать и говорить то, что раньше было нельзя, читать и цитировать то, что прежде было недоступно, требовала от нас некоего внутреннего расширения и взлета – так, во всяком случае, это ощущала я, но, как я помню, ощущение было практически общим для всех нас.

Володя же к моменту моего с ним знакомства был уже свободен, как, может быть, был свободен всегда, его мысль не была стеснена ничем, кроме его собственных предпочтений.

Я очень хорошо помню те чувства – как раз те самые расширение и взлет – охватившие меня, когда я слушала доклад Володи, самый первый из большой серии его выступлений перед нами – про истоки человеческой культуры, как он их понимал, про разницу между «симпрактическим» и «теоретическим» в его трактовке – в общем, о том, что он сам назвал деятельностью. Помню также, что после доклада в комнате отдела, а потом по дороге в метро и в самом метро мы жарко и подробно обсуждали его основания, развертывание и выводы. Но не так уж мне тогда было важно, все ли предложенные Володей построения равно корректны и все ли логично и непротиворечиво в его концепции «потенциального текста культуры». Я была благодарна ему как человеку, который те самые объекты и явления, о которых я много лет думала и даже писала, показал мне сверху и со стороны, сопоставил их с другими, о которых я не знала или знала очень мало, который явил нам себя как творческую личность, как мыслителя большого масштаба, способного охватить и включить в свою аналитическую картину мира несколько цивилизаций древности и даже ту бурлящую и противоречивую современность, в которой мы тогда жили.

Меня всегда поражало число, «междисциплинарность» и разнообразие источников, с которыми работал Володя. Вместе с тем для него было естественно и характерно относиться критически к любому имени и любому научному наследию. Может быть, слово «критический» здесь не очень точно – критика как таковая, критика ради критики никогда не входила в число его хобби, просто у него сложилась его собственная, оригинальная и четко очерченная теория,

своя индивидуальная эпистема с большой объяснительной силой, поэтому всякая работа, всякий авторитетный источник служили для него, скорее, отправной точкой, чем средством подтвердить свою правоту.

В 1992 г. благодаря Володе я была приглашена работать на полставки в новообразованном Институте мировой культуры при философском факультете МГУ. По моим обстоятельствам я там проработала всего два года, но когда я вспоминаю эти наши научные заседания 20-летней давности, оказывается, что больше всего я помню не содержание, а атмосферу этих собраний, на которых говорилось о самом разном и постулировалась самое разное. Володя, взяв слово, всегда приподнимал тему на следующий, более высокий уровень, тем самым предоставляя докладчику возможность соположения его предмета с другими и приглашая его взойти на более высокую ступень теоретического обобщения. Иногда с той же целью он прояснял какую-то незначительную деталь или факт, описываемый в докладе, таким образом, что они приобретали глубину и энергию смысла, характеризующего описываемую культуру.

В этом качестве – как слушатель докладов коллег, комментатор и дискуссант – Володя всегда был неоценим. И тогда, в Институте мировой культуры, и позже, когда он уже перешел в Институт восточных культур и Античности РГГУ, он всегда слушал доклады коллег внимательно и чутко, и, подобно музыканту на выступлении сотоварища, играющего на том же инструменте, он мог безошибочно расслышать небрежно взятую, смазанную ноту или со слуха оценить сложную композицию и оркестровку новой для него пьесы. Даже сами его оценки, если он решал формулировать коротко и импрессионистически, иногда напоминали мне моего учителя музыкальной школы пятидесятилетней давности. На мой сентябрьский доклад в Институте восточных культур и Античности РГГУ в этом году он пришел, отказавшись ради этого от запланированной поездки в его любимую деревню, его заболоченную Аркадию. После моего доклада мы сидели рядом на собрании членов семинара, у нас образовалась возможность поговорить, и он сказал: «Там в начале у тебя звучало как-то глухо, показалось, там что-то ненужное, но потом все выровнялось, объяснилось, зазвучало. Профессионально сделала, в общем». Для меня это была высокая похвала, которой я дорожу и о которой вспоминаю до сих пор. Мы говорили и о другом – о его недавней семейной утрате, о его науке, о моей жизни там и здесь. И как я жалею теперь, что мы поговорили бегло и коротко, что оба вскоре присоединились к общему разговору, что я не сказала ему ничего действительно важного и значительного, – но ведь это потому, что, казалось, жизнь продолжается, и мы, конечно, если не в этом сентябре, так на будущий год еще непременно увидимся...

*Л. М. Ермакова*

## Работы В. Н. Романова

Дхармасутра Апастамбы с комментарием Харадатты / Пер. В. Н. Романова. М., 1976 (рукопись).

Наблюдения над композицией Дхармасутры Апастамбы // Тезисы конференции аспирантов и молодых сотрудников Института востоковедения АН. История. Ч. II. М., 1977. С. 100–102.

Древнеиндийские представления о царе и царстве // Вестник древней истории, 1978, № 4. С. 26–33.

О социальной значимости дхармасутр // Санскрит и древнеиндийская культура. Сборник статей и сообщений советских ученых к IV Всемирной конференции по санскриту. М.: Наука, 1979. С. 103–107.

Из наблюдений над композицией дхармашастр // Древний Восток и античный мир. М.: МГУ, 1980. С. 83—101 (в соавторстве с А. А. Вигасиным).

К вопросу о жанре дхармашастр // История и культура Центральной Азии. М.: ГРВЛ, 1983. С. 182–189.

Некоторые особенности генезиса древнеиндийской цивилизации. К проблеме историко-культурных закономерностей перехода от первобытности к древнему обществу: Автореферат дис... канд. исторических наук. М.: Институт Востоковедения АН, 1985.

Из наблюдений за композицией «Махабхараты» // Древняя Индия. Язык, культура, текст. М.: ГРВЛ, 1985. С. 88—104.

Историческое развитие культуры. Проблемы типологии. М.: ГРВЛ, 1991.

Исповедь научного работника или утешение методологией // Три подхода к изучению культуры. М.: МГУ, 1997. С. 93—126.

[перепечатано также: Об устройении человека (в жанре исповеди научного работника, находящего утешение в методологии) // Кто сегодня делает философию в России. Т. I. М.: Поколение, 2007. С. 515–546].

Что значит «говорить сатью». По материалам Шатапатха-брахманы // Труды по культурной антропологии. Памяти Григория Александровича Ткаченко. М.: Издательский дом «Муравей», 2002. С. 144–167.

Историческое развитие культуры. Психолого-типологический аспект. М.: Издатель Савин С. А., 2003.

О медитативном значении глагола *ура-ās* (к жанровой эволюции брахманической прозы) // *Indologica*. Сборник статей памяти Т. Я. Елизаренковой. Книга 1. М.: РГГУ, 2008. С. 419–433.

Что значит поздневедийское *ура-ās*: к проблеме значения слова. М.: Макс Пресс, 2008.

«Шатапатха-брахмана». Книга I. Книга X (фрагмент). Перевод, вступительная статья и примечания. М.: Восточная литература, 2009.

«Шатапатха-брахмана». Книга X. Тайная. Перевод, вступительная статья и примечания. М.: Восточная литература, 2010.

*Светлой памяти Отдела Древнего Востока*

*Института востоковедения АН СССР посвящается*

## Предисловие

Вся предлагаемая вниманию читателя работа выросла, в конечном счете, из одного-единственного частного вопроса, который с полной очевидностью встал передо мной еще в бытность студентом вечернего отделения исторического факультета МГУ. Переводя один древнеиндийский дхармический текст, посвященный правилам благопристойного поведения «дваждырожденных», среди прочих норм, касавшихся самых различных сторон повседневной жизни, я неожиданно столкнулся также с предписаниями о том, как следует справлять нужду, большую и малую.

Было совершенно ясно, что здесь, как и обычно, когда в моем тексте шел разговор о совершении повседневных домашних обрядов, о разного рода искупительных процедурах, о правилах торговли, о достижении «трудного для лицезрения» атмана, об очищении, решении ряда правовых дел и т. д., всякий раз и без всяких новаций просто кодифицировалась устоявшаяся и освященная временем традиционная практика. Смущало только одно небольшое обстоятельство. Если прагматическая необходимость в кодификации всего остального материала еще могла получить (и иногда получала в литературе) хотя бы внешне правдоподобное (но, отмечу, неизменно частное) объяснение, то тот же вопрос относительно отправления естественных потребностей человека повисал безответно в воздухе. «И действительно, – думалось мне, – разве без опоры на текст никак нельзя было справиться нужду, или разве кто-нибудь из древнеиндийских диссидентов, обильно расплодившихся в предшествующий моему тексту период духовного, как говорят, брожения, смог предложить обществу что-либо принципиально новое взамен?!»

Вот в этой-то как раз связи у меня впервые родилось смутное подозрение, что, придерживаясь рутины научной мысли в поисках причинного объяснения, кажущегося нам наиболее разумным и наиболее для нас приемлемым, упускаешь что-то главное здесь и это главное состоит, быть может, не столько в описываемой практике, сколько в самом акте описания, который безотносительно к чему-либо уже сам по себе заключал в это время определенный момент новизны и притом достаточно сильный, чтобы мотивировать вне зависимости от прагматики текстовую объективацию стародавних норм сложившегося ранее поведения.

Дальнейшее продвижение вперед в этом направлении блокировалось, однако, моей же собственной, глубоко укоренившейся, хотя и вполне пред-рассудочной (как это выяснилось, правда, только впоследствии) установкой, не позволявшей мне увидеть в подобного рода нормативных текстах нечто большее, чем чистое проявление самой естественной способности человеческого существа. Уже одна видовая его характеристика как *существа разумного* заранее и без всякой задумчивости с моей стороны однозначно воспринималась верным залогом того, что человек во все времена и в любой культуре в силу универсальности человеческой природы просто изначально способен к произвольному и целенаправленному текстовому нормотворчеству.

Изживание этой пред-рассудочной установки оказалось делом весьма затруднительным, но лишь до тех пор, пока для меня в полной мере не прояснился тип задач, неизменно встающих перед любым создателем нормативного текста. Их решение вне зависимости от того, идет ли речь о древности или о нашем времени, предполагает сходные по своей структуре операции. Для того чтобы дать внеконтекстное описание нормы, которое только и может послужить для остальных членов социума однозначно читаемым алгоритмом, человеку необходимо преодолеть сначала свою связанность с психологическими полями ситуационной действительности, выйти за их пределы, отвлечься от них – и соответственно от самого себя в них – и лишь затем вернуться к той же самой действительности, но осмысленной уже не собственным присутствием в ней, а с помощью ее аналитического текстового отображения. Именно в

ходе такого внутреннего абстрагирующего движения как раз и сотворяется то обособленное от практики умозрительное пространство, переместившись в которое создатель нормативного текста, отвлекшись на время от своего телесно-деятельного присутствия в предметно-событийном мире, в состоянии занять по отношению к нему позицию отстраненного наблюдателя, целенаправленно вычленив и объективируя в той или иной системе кодов спонтанно сложившуюся в нем прежде поведенческую норму.

Начиная с этого момента, когда стало более или менее понятно, что древние и современные культуры, если рассматривать их с точки зрения способности человеческого существа к произвольному отвлечению от своего деятельностного присутствия в мире и занятию по отношению к этому миру определенной метапозиции, явственным образом обнаруживают типологически сходные черты, мое первоначальное смутное подозрение начало постепенно перерастать в некоторую предварительную, «рабочую» гипотезу. Исходя из факта появления и повсеместного распространения в древних обществах разнородных по содержанию нормативных текстов, логично было предположить, что именно в эту эпоху – и, разумеется, не только в Индии – случилось событие чрезвычайной для филогенетического развития человечества важности. Суть его сводилась к формированию принципиально нового пространства познавательных возможностей, вызванных к жизни конституированием вне-ситуационной и теоретической по своей умозрительной природе нормотворческой текстовой деятельности, обособленной от иных практик и по месту и по времени.

Фундаментальное значение этого события и его каузально-динамическое объяснение мне еще только предстояло выяснить в дальнейшем. Главное, однако, заключалось в том, что теперь оно предстало уже передо мной в качестве вполне осязаемого предмета конкретного исторического исследования, нацеленного на выявление типологических характеристик как древней, так и предшествующей ей первобытной культуры. Ведь исходная моя «рабочая» гипотеза с необходимостью предполагала, что именно в древности впервые стала формироваться та, ставшая впоследствии совсем привычной и кажущаяся нам теперь совершенно естественной, данной нам как бы от природы, мыслительная дистанция, которая оказывалась достаточной для того, чтобы человек «прозрел» наконец в отношении окружающего его мира и соответственно весь этот мир превратился бы для него (по крайней мере потенциально) из практически обживаемого присутственного места в сторонний и до сих пор невиданный объект – объект нормативного текстового отображения.

Естественно, что гипотеза эта могла получить хоть какое-то право на существование только в том единственном случае, если бы удалось действительно выявить некоторые основания, по которым предшествующую древности первобытную культуру можно было бы с известной долей уверенности отнести к разряду, условно говоря, «незрячих» – или, как мы будем называть их в дальнейшем, симпрактических, – кардинально отличающихся от «зрячих» культур теоретического типа и по способу передачи информации, и по предоставляемым ими познавательным возможностям. Однако и здесь, при решении этой задачи, в первую очередь мне опять пришлось преодолевать свои же собственные пред-рассудочные установки, заставлявшие меня как *существо разумное* – что к тому времени самым зримым образом подтверждалось уже наличием на руках документа о законченном и к тому же высшем образовании – изначально сомневаться в самой возможности существования такого рода симпрактических культур, где целесообразное и системное поведение человека не являлось бы функцией предварительного речевого планирования и где проблема построения адекватного ситуации поведения имплицитно решалась бы совершенно иначе, на принципиально иных уровнях человеческого естества.

И так случалось каждый раз, на каждом следующем шаге: и когда я, привлекая материал так называемых бесписьменных, традиционных, или, по-другому, этнографических обществ, не испытывающих никакой потребности в нормативном самоописании, пытался сначала рекон-

струировать типологические признаки первобытной культуры и обосновать хотя бы косвенным и скорее логическим образом свое исходное предположение о ее «незрячем», симпрактическом характере; и когда, отталкиваясь от параллелей с онтогенетическим развитием современного человека, пытался затем нащупать подступы к решению проблемы перехода от симпрактического типа культуры к теоретическому; и когда в поисках ответа на неизбежно встававший передо мной вопрос о том, как в древности в русле типологически сходного исторического развития могли формироваться совершенно несходные по своему содержанию культуры, приступил наконец к анализу древнеиндийской текстовой традиции ведийского и поздневедийского периодов.

При каждом из этих шагов я каждый раз неизменно наталкивался на существенное препятствие в виде меня самого, а точнее, в виде тех постоянно ускользающих от сознания надындивидуальных пред-рассудков, кои имманентно были присущи мне как современному представителю теоретической культуры, да к тому же определенному еще дополнительно совершенно определенным в отношении содержания ее конкретным, отечественным подвигом. Чем дальше я продвигался вперед, тем больше убеждался – причем чисто эмпирическим путем, набивая в ходе работы все больше шишек, – что именно они, эти лежащие за порогом сознания пред-рассудки, являясь безусловной предпосылкой предпринятого мною исследования, вместе с тем решительно препятствуют расширению горизонтов моего же собственного незнания, понуждая мысль обреченно плестись по уже исхоженному задолго до меня и предопределенному заранее маршруту.

Вот так, мало-помалу проясняясь, определилась последняя по счету, но уж точно не последняя для меня по значимости сквозная тема предлагаемого вниманию читателя исследования. В содержательном отношении она прежде всего связана с выявлением и анализом того бытующего в человеческом существе надындивидуального пред-рассудочного начала, без которого это существо никогда и ни при каких условиях не состоялось бы как *существо разумное*. Непосредственно этой теме отведена вся первая часть книги. Но и далее, в двух последующих ее частях, она будет всплывать постоянно, касаясь, с одной стороны, той драматической, если не сказать тупиковой, познавательной ситуации, в которую каждый раз загоняет себя исследователь, непроизвольно проецируя свои собственные пред-рассудочные установки – причем как типологического, так и содержательного свойства – в принципиально иной культурный контекст, а с другой – тех предоставляемых самой диалогической природой гуманитарного опыта возможностей, которые позволяют, по крайней мере в теории, избежать этого гносеологического тупика двойничества, а при наличии еще и воли воспользоваться ими хотя бы изредка – а на большее нам и рассчитывать, видимо, не приходится – выбираться из него.

В завершение своего короткого рассказа о долголетней истории написания настоящей книги мне остается только назвать имя нашего выдающегося соотечественника физиолога А. А. Ухтомского, сыгравшего в моей научной биографии роль своеобразного вожатого<sup>1</sup>. Его потаенные и, на первый взгляд, вовсе не научные мысли о двойничестве как крайней форме проявления аутизма современного ученого, а также предложенный им способ лечения этого весьма распространенного в научной среде заболевания уже изначально, с самой студенческой скамьи, предопределили мое будущее понимание гуманитарного опыта. Они заранее делали для меня – сначала просто как для *Владимира* и без всякого тогда еще *Николаевича* – совершенно неприемлемым доминирующий по сию пору в науках о человеке по-объективистски

---

<sup>1</sup> Моя первая встреча с А.А. Ухтомским состоялась совершенно случайно еще в далекие семидесятые годы на страницах необыкновенно популярного в то время журнала «Новый мир» (*Ухтомский А.А. Письма*. Публикация, вводная статья и примеч. Е.И. Бронштейн-Шур // *Новый мир*. 1973. № 1. С 371–436). Сейчас мы имеем возможность гораздо полнее ознакомиться с его гуманитарным наследием благодаря изданиям относительно недавних лет, подготовленных совместными усилиями Л.В. Соколовой, Г.М. Цуриковой и И.С. Кузьмичева: *Ухтомский А.А. Интуиция совести*. СПб., 1996; *он же*. Заслуженный собеседник. Рыбинск, 1997; *он же*. Доминанта души. Из гуманитарного наследия. Рыбинск, 2000.

бесчеловечный метод исследования, против которого и направлено все мое нынешнее предприятие. Начинается оно с критики лежащих в самом основании этого метода пред-рассудочных представлений о разумности человеческого существа, критикой его оно завершается и в *Послесловии*, где этот метод, представляющийся чисто научным вроде бы феноменом, рассматривается уже в культурно-исторической перспективе – в качестве одного из частных проявлений рационалистической и соответственно монологической по самой своей сути западноевропейской культурной традиции.

# Часть I

## Человек, язык, культура: По эту сторону от объективного

### Введение

#### Антропоцентричный подход к языку vs. объективистский (к методологии гуманитарного исследования)

Чтобы поскорее подобраться к самой сути собственно человеческого существа, самой очевидной видовой характеристикой которого как *существа разумного* является, по общему признанию ученых, его способность осмысленно оперировать словом, с вопроса о лексическом значении последнего мы как раз и начнем сейчас наш разговор. Вопрос этот относится, несомненно, к разряду «вечных», не допускающих по самой своей вечности окончательного и однозначного ответа, и я уже в силу одной только присущей мне профессиональной ограниченности, не говоря о временной, никак не могу претендовать на его решение. Цель, преследуемая мной в данном случае, гораздо скромнее и состоит она лишь в том, чтобы более или менее четко обрисовать контуры одного из возможных подходов, который при трактовке лексического значения слова учитывал бы следующие три обстоятельства:

– во-первых, многоуровневую организацию человеческого существа и, в частности, смыслообразующую роль телеснодвигательной его активности, которая вопреки распространенным в науке представлениям разворачивается не в объективном, т. е. предметном, мире, не в объективном физическом пространстве, однородном и изотропном по своим свойствам, а именно в окружающем каждую отдельную человеческую особь и потому изначально *эго*-центрично организованном по отношению к ней мире опредмеченных возможностей;

– во-вторых, непосредственно знаковую природу структурированного таким образом человеческого мира, который приобретает для нас системное значение и смысл уже благодаря одному нашему телесно-деятельностному присутствию в нем и уж точно не в тот только момент, когда он предстает перед нами в виде рисуемой лингвистами его так называемой языковой картины;

– и, в-третьих, наличие обусловленного всем полноценным человеческим естеством известного изоморфизма между *эго*центричной структурой окружающего каждого из нас мира опредмеченных возможностей и аналогичной структурой лексического состава естественного языка, и, причем именно в той ипостаси, в какой этот его состав, структурируясь относительно нашего местоименного *я*, бытует реально в нас самих, когда язык еще не подвергся процедуре так называемой научной идеализации, проводимой обычно лингвистом в целях выявления отвлеченного от нашей полноценной самости объективного, как принято говорить, значения слова.

Методологической своей стороной наш разговор будет, в конечном счете, обращен к одному из самых фундаментальных научных пред-рассудков, обуславливающему бессознательную склонность исследователей-гуманитариев, как только тематика их занятий соприкасается с человеком и его сознанием, тут же встраиваться в привычную для европейской культуры парадигму отражения, невольно прибегая к соответствующим ее названию и метафорическим по своему существу выражениям. Среди прочих не избежали этого пред-рассудочного прессинга и лингвисты, что, в частности, проявляется у них в той поразительной непринужденности, с которой они используют уже упомянутую выше метафору «языковой картины мира»,

толкуемой ими обычно в качестве языкового отражения объективной внеязыковой действительности, т. е. в качестве запечатленного в языке – и прежде всего в лексическом его составе – интегрального образа последней.

Разумеется, суть дела заключается не в самой картинной метафоре, к которой, как и к любой другой (к примеру – компьютерной, аналогичной по своей полной несообразности человеческой природе, а потому и столь же неуместной), предъявлять какие-либо претензии было бы верхом неразумия, а в тех скрывающихся за ней и весьма распространенных среди объективистски ориентированных лингвистов исходных методологических установках, которые решающим образом сказываются как на предметной направленности семантического исследования, так и на логике его развертывания<sup>2</sup>.

Так вот, не требуется, по-моему, слишком больших усилий, чтобы понять, что начальный импульс, определяющий в общих чертах конфигурацию познавательного опыта, включая и методологическую его основу, исходит в данном случае от вполне, казалось бы, естественного и, на первый взгляд, вполне оправданного противопоставления естественного языка как предмета лингвосемантического анализа всей остальной лежащей за его пределами и отражающейся в нем объективной внеязыковой действительности. Момент парадоксальности заключается, однако, в том, что именно всеобъемлющий характер этого исходного и формально вроде бы безупречного разбиения оборачивается на практике резким сужением предметной перспективы семантического исследования.

Поскольку совокупное денотативное пространство соответствующих языковых выражений, *язык и внеязыковая действительность*, имеет предельно мыслимый объем – ведь и в самом деле нет, в сущности, ничего, что нельзя было бы промыслить как относящееся либо к сфере первого, либо к сфере второго, – человек, в связи с которым по большому счету только и имеет вообще-то смысл говорить о значении слова в полном смысле самого слова *значение* (попросту, замечу в скобках, бессмысленного без заполнения валентности *для кого*), однозначно попадает в разряд объектов, принадлежащих исключительно внеязыковой действительности.

Как таковой, он сразу же и бесповоротно выводится за пределы лингвосемантического анализа и передается в руки представителей других специальностей (психологов, философов, культурологов и т. д.), призванных по долгу своей службы профессионально заниматься им. Для лингвистов же, занимающихся вопросами семантики и последовательно работающих в парадигме отражения, человек может представлять в связи с этим законный интерес лишь в той, строго говоря, мере, в какой он, наряду со всеми прочими отражающимися в лексическом составе языка объектами внеязыковой действительности, также должен – просто ради полноты все той же «языковой картины мира» – занять в ней свое законное место.

В этой до опыта зауженной и изначально обезчелоченной перспективе, формирующейся ровно в тот момент, когда на естественный язык начинают смотреть с бесконечно удаленной и отвлеченной от человеческого естества объективной точки зрения (она же – «точка зрения вечности»), не остается, в сущности, ничего другого как свести структуру лексического значения слова к чисто формальной совокупности трех принципиально разнородных по своей сути отношений, в которые оно вступает:

- с другими словами, входящими в лексический состав языка;
- с обозначаемым им объектом внеязыковой действительности;
- и, наконец, с отражающим этот объект понятием.

---

<sup>2</sup> Краткий критический анализ основных принципов «объективных» теорий значения слова, восходящих, в конечном счете, к аристотелевской модели категорий и доминировавших в языкознании в течение большей части XX века, дан в обзорной статье: *Ченки А.* Семантика в когнитивной лингвистике // Современная американская лингвистика: фундаментальные направления. М., 2002. С. 341–346.

При таком формально-объективистском подходе за скобками, естественно, остается вопрос об отношении языкового знака с человеком, в котором, однако, только и может иметь место реальная, а не формальная интеграция всех трех фиксируемых в ходе лингвистического анализа разнородных компонентов лексического значения слова. Не будучи поставлен предметно, данный вопрос по необходимости переводится в чисто спекулятивную плоскость, где как раз и оказывается востребованной картинная метафора, позволяющая лингвисту пережить свои умозрительные игры разума в объективное (т. е. абстрагированное от нашей полноценной человеческой самости) значение слова как имеющие под собой хоть какую-то бытийную основу. Объяснительная конструкция, играющая в этих играх роль своеобразной методологической рамки, приобретает при этом следующий приблизительно вид.

Человек, являясь носителем языка – и это отличает его от всех остальных объектов внеязыковой действительности, – представляет собой некое вместилище «языковой картины мира». Овладевая естественным языком и прежде всего лексическим значением слов, носитель языка начинает видеть мир под определенным углом зрения, подсказанным ему родным языком, и в конце концов сживается с той концептуализацией мира, которая характерна для его культуры. Открываясь внутреннему взору, эта «картина» навязывает (так буквально и говорят иногда – именно *навязывает*) своему носителю тот или иной способ отражения объективной внеязыковой действительности и соответственно тот или иной способ ориентации в ней.

Здесь, как правило, ставится точка, хотя целый ряд вроде бы важнейших для лингвистической семантики вопросов – о системной организации той «языковой картины мира» (если уж пользоваться этой метафорой), которую исследователь после ее сотворения без всякой предварительной задумчивости подвешивает где-то на гвоздике в человеческой голове, о ее пространственно-временной композиции, о смысловой ее доминанте и, наконец, о реальном психологическом статусе (ведь не на гвоздике же, право, висит) – остается по существу без сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Более того, складывается подчас впечатление, что реальная системность лексического состава естественного языка, которую, разумеется, просто невозможно себе представить без учета человеческого фактора – и причем в его ведущей и, как мы увидим далее, системообразующей функции, – в принципе и не очень-то волнует склонных к формализму лингвистов, испытывающих, судя по их работам, чувство глубочайшего удовлетворения уже от одного только систематического использования ими в своих исследованиях некоторого системным образом сконструированного метаязыка, максимально, как правило, приближенного в идеальном (с их точки зрения) варианте к логическому.

Между тем вся приведенная выше объяснительная конструкция, призванная, в конечном счете, онтологически оправдать (хотя бы за счет метафоры) те немалые интеллектуальные усилия, которые затрачиваются формалистами на интегральное описание естественного языка с нечеловеческой, а потому и совершенно неестественной для него и абсолютно неадекватной ему «точки зрения вечности», сплошь пред-рассудочна в самой своей основе. Стремясь по ходу научного опыта к выявлению отвлеченного от человеческого существа значения слова с помощью формального его представления, в виде записи на том или ином метаязыке, они упускают из вида один, но зато решающий все дело фундаментальный факт.

Факт же этот состоит именно в том, что вопреки их исходной методологической установке совокупное денотативное пространство лексического состава естественного языка вовсе не совпадает – и не просто по объему, а именно в принципе, по самой своей сути, – с отвлеченной от человека объективной внеязыковой действительностью. Ведь именно в ней-то как раз человек со своим естественным языком практически никогда не бывает, неизменно оставаясь в повседневно-практической своей жизни в пределах окружающего его и *эго*-центрично структурированного по отношению к нему мира опредмеченных возможностей.

Совсем другое дело ученый, который, постоянно сталкиваясь по роду своей профессиональной деятельности с задачами теоретического типа, сознательно и целенаправленно стре-

мится выйти из жизненной связи со своим собственным миром и по возможности абстрагироваться от него (и соответственно – от самого себя в нем), чтобы затем, изготовив из себя предварительно некое существующее само по себе познающее устройство, очищенное от всех препятствующих научному познанию антропоморфных элементов, приступить далее к объективному описанию действительности, не сопряженному с собственным присутствием в ней всем своим полноценным (включая, разумеется, и двигательно-перцептивное наше *эго*) человеческим составом. А это, в свою очередь, требует уже, естественно, не естественного, а именно искусственного языка с искусственной же лексикой и правилами.

Только в этих весьма специфических случаях, когда человек, трансформируясь в идеального и бесплотного субъекта теоретического познания, окончательно изымает себя из прежде окружавшего его *эго*-центричного мира опредмеченных возможностей, действительность, структурируясь по-новому – уже не как присутственное место, в котором совершаются практические действия, а как некий подлежащий исследованию спецобъект, сотворяемый самими специальными исследовательскими процедурами, – предстает теперь перед специалистом в своем законченно идеализированном виде. И вот только теперь эта идеально сконструированная действительность, воплощающая принятые в каждой конкретной науке нормы и правила исследования, действительно становится идеальным для теоретического рассмотрения объектом, который действительно противостоит идеально же приспособленному для его познания развоплощенному субъекту и относительно которого этот изъятый из повседневной действительности безместный, бестелесный и безличный лишенец может делать в принципе только одно: пребывая в метапозиции, отражать с отвлеченной точки зрения (она же – «точка зрения вечности») сконструированный им же самим объект в своем специально ориентированном умозрящем сознании и получать на выходе ту или иную (опять же в зависимости от специальности) умозрительную (*resp.* – бес-человечную, но, разумеется, никак не бессубъектную) его картину (физическую, химическую и т. п.).

Если в этом разрезе чуть повнимательнее присмотреться теперь к той специальной научной картине мира, которую рисует в своем воображении лингвист-гуманитарий, успешно прошедший школу профессионального «очищения» и научившийся бездумно вторить естествоведнику в его абсолютно законном стремлении рассматривать нечеловеческую действительность в максимально обезчелоченной перспективе, несложно будет заметить, что человек как *существо разумное*, промышляясь по образу и подобию бесплотного субъекта картезианского толка (*res cogitans*), изначально вне-положенного протяженному миру материальных объектов (*res extensa*), вписывается в нее в крайне усеченном и абсолютно неестественном для себя виде. Собственно человеческое его существо, будучи фактически срисовано с самого умозрящего рисовальщика лингвистической картины мира, оказывается представленным в ней одной только избранной своей «интеллектуальной частью» – одной, условно говоря, головой, надеваемой лишь двумя значимыми для проводимого над ней опыта способностями: к наименованию предметов и промышлению их в чисто умозрительных категориях, начисто лишенных, естественно, каких бы то ни было чувственно-телесных проекций.

Подобное развоплощение и одухотворение человеческого существа являет собой, однако, настолько грубую редукцию (если не сказать – вивисекцию) и настолько не сообразуется с его реальным устройством, что дальнейшее обсуждение проблемы значения – и именно для человека, а не умозрящего субъекта лингвистического опыта – языкового знака в пределах постоянно проводимой объективистски ориентированными лингвистами идеализации предмета семантического исследования лишается в значительной степени смысла. Его остается еще меньше, если мы начинаем вдобавок учитывать, что и все прочие явления внеязыковой действительности безотчетно, но вместе с тем вполне закономерно подгоняются такими исследователями под крайне ограниченные способности своего бестелесного двойника. Поскольку последний – просто за отсутствием, фигурально выражаясь, рук – схватить (= понять) пред-

меты может лишь умозрительно, в научный опыт они также по необходимости входят одной-единственной своей стороной, лишь в качестве референтов языкового знака, непременно требующих для более или менее осмысленного манипулирования ими своего эксплицитного семантического представления<sup>3</sup>.

По сути дела, экзистирование усеченного до головы субъекта лингвосемантического опыта как раз и сводится к проведению им подобного рода «представительских мероприятий», конечному результату которых, дающему чисто умозрительное понятие о предмете, только и приписывается статус соответствующего этому предмету понятия. В рассуждениях о значении слова именно оно, со своими однозначно определенными (в аналитическом тексте) и фиксированными (посредством его слов) границами, неизбежно принимая по ходу опыта вербально-логический вид, начинает целиком подменять собой понятие предметное, которое, однако, в генетическом плане не имеет никакого касательства ни к умозрению, ни к слову.

Ведь не может быть никаких сомнений в том, что относительная стабилизация смысла предмета (иначе говоря, его функционального назначения), приводящая к становлению в человеческой особи отдельных предметных понятий уже в раннем детском возрасте, протекает у нас помимо речи и уж точно не предполагает под собой каких-либо вербально-логических операций<sup>4</sup>. Спонтанно формируясь на уровне предметных же действий, обладающих вполне самостоятельной смысловой стороной, предметное понятие дает человеку не абстрактно-умозрительное, а именно живое понятие, и притом не о самом предмете, как он есть сам по себе (т. е. в отрыве от нас самих, от нашего телесно-чувственного устройства, от наших повседневных нужд и т. пр.), а о тех совокупных возможностях, которые предмет в своем практическом значении таит в себе для человека в самых разнообразных жизненных ситуациях.

В отличие от абстрактно-умозрительных понятий, целенаправленно и сознательно конструирующихся исследователем на основе максимального отвлечения от своего телесного существа с последующей координацией слов разного семантического объема в пределах единого классифицирующего высказывания, понятия предметные, наоборот, имеют выраженную психосоматическую природу, являясь в конечном счете незапланированным результатом протекающей за порогом сознания спонтанной координации возможностей, предоставляемых, с одной стороны, предметным миром, а с другой – самим телесно-чувственным устройством человеческого существа.

Естественно, что эти стоящие за предметом (и соответственно за словесным его обозначением) предметные понятия, вживленные в биодинамическую чувственную ткань нашего тела, оказываются совершенно не актуальными для полностью развоплощенного и способного на одно умозрение субъекта теоретического познания, вследствие чего в объективистских теориях значения слова, отражающих опыт его бестелесного и безличного экзистирования, им просто не остается места. А между тем фактически полное игнорирование предметных понятий – игнорирование, подчеркну, тем более удивительное, что именно они образуют в естественном языке его базисный и исходный смысловой пласт, – находит себе оправдание лишь в самых расхожих и чисто пред-рассудочных представлениях о собственно человеческой при-

---

<sup>3</sup> Самым зримым образом крайняя односторонность такого рода «манипуляций» сказывается в схематических изображениях треугольников (по типу треугольника Фреге), призванных по мысли их неутомимых начертателей прояснить предлагаемую ими чисто объективистскую трактовку значения языкового знака как некоторого целого, состоящего из обозначаемого предмета и понятия об этом предмете. Несмотря на частные расхождения (и в номенклатуре и в прилагаемых комментариях), в них явно проступает одна общая и, на мой взгляд, фундаментальная по своей несуразности мысль: предмет может приобрести для нас смысл лишь при условии его неперемного вхождения в структуру значения языкового знака в качестве референта последнего.

<sup>4</sup> О принципиальном «забегании» предметного опосредования понятия вперед речевого, что в нормальном онтогенезе присутствует только в скрытом виде, но в развитии глухонемого ребенка дает о себе знать с полной очевидностью, см. подр.: Запорожец А.В. Роль элементов практики и речи в развитии мышления детей (на материале глухонемых детей) // Избранные психологические труды. Т. 1. М., 1986. С. 170–171.

роде человеческого существа. Приверженцы объективистских теорий (как в лингвистике, так и в других областях гуманитарного знания), лишь только дело касается человека как *существа разумного*, торопятся обычно отставить поскорее в сторону неотъемлемо присущую ему телесную существенность, прямо роднящую его с животным, и сразу же переносят свое основное внимание на оперирующее языковыми знаками понимающее его начало, уже по определению принципиально отличающее его от того же животного.

Подобное стремление, продиктованное характерным для европейской культуры со времен античности последовательным разведением и противопоставлением разума и плоти, идет вразрез с фундаментальным для современной науки методологическим принципом системности. Но если все-таки следовать этому принципу и не предаваться бездумной вивисекции, заранее игнорируя при идеализации объекта лингвосемантического исследования существенную сторону человеческого существа, то начинать по необходимости придется с самого его телесного существа, которое в онтогенезе при определенных условиях может действительно превратиться в *существо разумное*, характеризующееся наличием действительно уникального во всем животном мире функционального органа мышления – именно функционального органа, а не анатомического<sup>5</sup>, – способного динамично менять и свой морфологический состав, и свою структуру в прямой зависимости от встающих перед состоявшимся как человек существом задач<sup>6</sup>.

В другой работе, написанной, правда, по иному отчасти поводу<sup>7</sup>, я, отталкиваясь от идей Н. А. Бернштейна (по поводу построения движений)<sup>8</sup> и Дж. Гибсона (по поводу окружающего нас и зрительно воспринимаемого нами мира двигательных возможностей)<sup>9</sup>, уже пытался продемонстрировать, насколько радикально может измениться перспектива осмысления собственно человеческого естества, если разговор о нем начинать не с понимающего начала, однозначно сводимого обычно к способности человека успешно оперировать языковыми знаками, а с телесно-двигательной его активности, т. е. с того, что в известной мере роднит человека со всем остальным животным миром и в то же самое время за пределами этой еще только подлежащей выяснению меры резко отличает его от тех же животных.

Не воспроизводя буквально всего хода изложенных в указанной работе рассуждений, ограничусь далее переложением важнейших ее положений, касающихся прежде всего морфологии окружающего каждого из нас собственно человеческого мира и тех ответственных за ее порождение и гораздо более сложных, чем это допускают обычно, семиотических процессов, в которые человек всем своим телесным существом спонтанно вовлекается на протяжении всей своей жизни с самого момента своего рождения. Надеюсь, что на этом фоне достаточно отчет-

---

<sup>5</sup> Идея функционального органа, касавшаяся, правда, не мышления, но только двигательной активности животного существа, была выдвинута первоначально А.А. Ухтомским, а затем поддержана и развита Н.А. Бернштейном в его биомеханических исследованиях. Ее суть в кратком изложении А.В. Запорожцем сводится к следующему: «[...] подлинные органы движения носят не статический, анатомически фиксированный, а динамический, функциональный характер. Нервная система принуждена каждый раз заново создавать эти механизмы, отмобилизовав применительно к условиям стоящей перед субъектом задачи из числа имеющихся двигательных возможностей те из них и в таких сочетаниях, которые необходимы для осуществления требуемого действия» (*Запорожец А.В.* Развитие произвольных движений // *Избранные психологические труды*. Т. 2. М., 1986. С. 190).

<sup>6</sup> В некоторых случаях анатомический состав функционального органа мышления может включать в себя даже отдельные элементы нашего телесного низа, не исключая, кстати сказать, и зада, играющего, положим, основополагающую роль в процессе формирования предметного понятия «стул»; см. ниже с. 31–40.

<sup>7</sup> *Романов В.Н.* Исповедь научного работника, или Утешение методологией // Три подхода к изучению культуры. М., 1997. С. 93–126; то же с небольшими уточнениями в монографии: *Романов В.Н.* Историческое развитие культуры. Психологотипологический аспект. М., 2003. С. 11–56.

<sup>8</sup> *Бернштейн Н.А.* О построении движений. М., 1947; *он же.* Физиология движений и активность. М., 1990; *он же.* О ловкости и ее развитии. М., 1991; *он же.* Биомеханика и физиология движений. Избранные психологические труды / Под редакцией В.П. Зинченко. Москва-Воронеж, 2004.

<sup>9</sup> *Гибсон Дж.* Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.

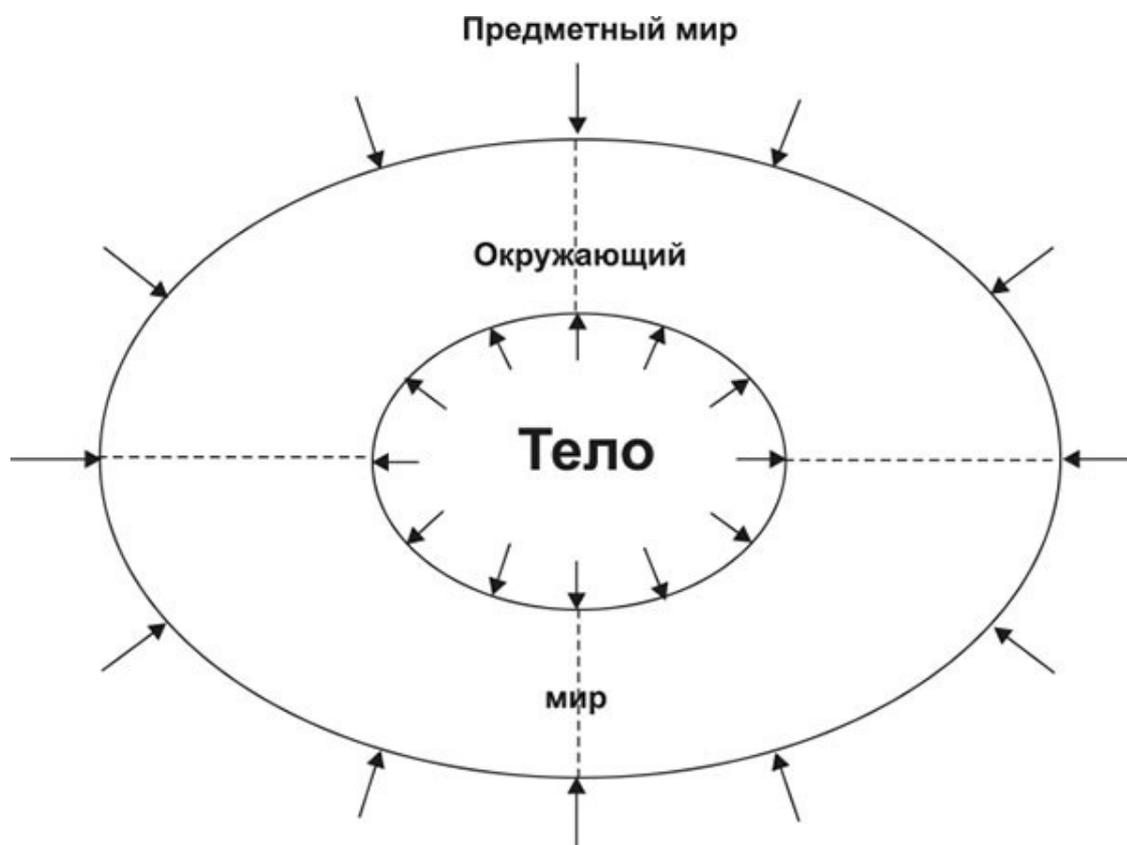
ливо проступит психосоматическая или, если быть более точным, проприоцептивная природа предметных понятий, образующих в естественном языке его исходный смысловой пласт.

## Глава 1

### Становление одушевленной реальности, или По эту сторону от объективной

Итак, человек и именно в животной своей ипостаси. Как и любое другое животное, он в силу специфики присущих его телу кинематических цепей будет обладать своими, анатомически определенными возможностями для развертывания той или иной двигательной активности. Но движение живого существа никогда не случается в однородном и изотропном физическом пространстве<sup>10</sup>. Напротив, оно всегда имеет место в качественно определенном и топографически разнородном предметно-событийном мире. Следовательно, говорить о возможностях тела в связи с двигательной активностью имеет смысл только потому, что сам этот мир как совокупность всех доступных мест пребывания также таит в себе самые разнообразные возможности, причем разом для всех животных, включая, естественно, и человека.

Реализуя в данный момент времени и в данном месте определенную выборку из всех возможных для живого существа движений, оно реализует одновременно и выборку соответствующих возможностей, предоставляемых ему для этого предметно-событийным миром. Если попытаться графически передать эту мысль, обозначив возможности обоего рода вектором и сосредоточив преимущественное внимание на факте их координации, то получится следующее:



<sup>10</sup> Абстракция однородного и изотропного физического пространства есть необходимый коррелят исчисляюще-измеряющего субъекта, графически представимого в виде декартовой системы координат. И однородность, и изотропность фиксируют в данном случае условия осмысленного «экзистирования» подобного субъекта. Ведь оба эти признака, по сути дела, означают для него, что операция измерения возможна в любой без исключения точке, а сопоставление полученных в ходе измерений результатов имеет, безусловно, смысл.

Приведенная схема призвана как можно наглядней продемонстрировать, что мир, актуально окружающий каждое наделенное телом живое существо, есть прежде всего мир подлежащих согласованию возможностей: возможностей, с одной стороны, внутренних, телесных, а с другой – внешних, связанных уже с предметной средой. Само устройство тела животного и, конкретнее, его двигательного аппарата заранее будет однозначно определять, какие именно из всей совокупности возможностей, которые объективно предоставляются вещно-оформленной предметной средой, могут быть при случае востребованы им, а какие раз и навсегда, с самого рождения и до скончания дней, так и перейдут для него в разряд вырожденных, лежащих по ту сторону от актуально окружающего его в каждый момент времени посястороннего мира.

В более развернутом, но на этот раз в алгебраическом уже виде та же, по сути дела, мысль может быть выражена следующим образом: мир, окружающий животное  $X$  в точке  $A$ , не будет тождественен окружающему миру животного  $Y$  в той же самой точке, даже если различия между  $X$  и  $Y$  касаются их телесного исключительно устройства. В силу одного только различия между ними в двигательном аппарате оба мира подлежащих согласованию возможностей,  $X^a$  и  $Y^a$ , порождаемые разнесенным во времени присутствием данной пары животных в точке  $A$ , несмотря на абсолютную идентичность внешней вещно-оформленной среды в этой точке, будут хотя бы немного, но все же различаться между собой. Однако различаться будут они, сходясь, несомненно, в главном – в их принципиальном типологическом сходстве. Ведь и тот и другой вне зависимости от конкретного телесного устройства  $X$  и  $Y$  и, следовательно, от анатомически доступных для каждого из этих животных движений будут в равной степени обладать свойством одушевленной реальности, т. е. такой единственно актуальной для них посясторонней реальности, в которой возможности (причем как положительного, так и отрицательного свойства), которые предоставляются предметным миром для развертывания двигательной активности, изначально являются им как возможности собственного тела, как их же собственные телесно-динамические проекции.

В связи с этим полезно продумать другое условие, абсолютно необходимое для того, чтобы косная реальность потустороннего мира материальных объектов смогла действительно трансформироваться в одушевленную реальность окружающего мира согласованных возможностей. Прежде всего здесь следует принять во внимание тот очевидный факт, что любое млекопитающее, к классу которых принадлежит, в частности, и человек, характеризуется наличием не только кинематических цепей, обуславливающих самую подвижность его тела и анатомически доступный ему состав движений, но в добавок к этому еще и особых органов чувств, которые в ходе развертывания двигательной активности обеспечивают согласованное восприятие двух множеств указанных выше разнородных возможностей, внутренних и внешних. Главенствующую роль в этом их согласовании, хотя и в разной степени, играют у всех млекопитающих земной поверхности такие дальнобойные телерецепторы, как зрение, слух и обоняние.

Как было показано в свое время Н. А. Бернштейном<sup>11</sup>, данные телерецепторы, всей своей экстероцептивной природой нацеленные вроде бы на извлечение информации о текущем состоянии предметной среды, обладают вместе с тем и проприоцептивной функцией, состоящей в наблюдении за текущими движениями собственного тела и сигнализации об этих движениях в центральную нервную систему в порядке выполнения сенсорных коррекций. Если, однако, посмотреть на ту же проприоцептивную функцию дальнобойных телерецепторов не с физиологической точки зрения, а с точки зрения психологии, суть дела будет заключаться скорее в другом. Главное будет состоять уже не столько в ее непосредственной вовлеченно-

<sup>11</sup> См.: Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. М., 1990. С. 35.

сти в процессы управления движениями, сколько в том, что прямым результатом этого как раз и становится конституирование эгоцентрично организованной одушевленной реальности с совершенно неведомой объективному миру центростремительной интенцией.

Благодаря функциональной проприоцепции запредельно нереальная для нас как животных потусторонняя реальность объективного мира, который сам по себе лишен иерархически выделенного в нем места и таким образом вовсе не предполагает для движущихся в нем косных материальных объектов абсолютной точки отсчета, преобразуется в единственно реальную для нас реальность нашего же собственного мира возможностей, который, в противовес объективному, характеризуется уже наличием в случае каждой конкретной особи своего особого четко выраженного структурного центра и соответствующей ему периферии.

Действительно, посредством телерецепторов, непроизвольно и без всякой задумчивости задействуемых нами при согласовании двух множеств разнородных возможностей, мы, как и другие млекопитающие, не только локализуем объекты относительно своего тела<sup>12</sup>, но и сами, в свою очередь, локализуемся относительно них. И лишь в силу этого обстоятельства наша родовая животная самость, впервые конституируясь именно как средоточие согласованных, скоординированных возможностей, только и имеет место быть, т. е., находясь в центре актуально окружающего ее на текущий момент времени посюстороннего мира, осуществлять с этого места выбор единственного из всех в принципе возможных здесь и теперь двигательных актов. Но поскольку события такого рода никогда не прерываются, образуя собой преемственную череду, одушевленная реальность постоянно регенерирующего мира собственных возможностей, окружающего каждую животную особь на протяжении всей ее жизни, будет отличаться также динамической устойчивостью во времени и обладать соответственно вполне определенной и постоянно к тому же возобновляемой пространственно-временной морфологией. Последняя, будучи хронотопической по самой своей сути, с необходимостью предполагает:

- выраженный структурный центр, имеющий место в точке пересечения (интеграции и координации) возможностей, воплощающих результат прошлых перемещений;
- ближнюю периферию так называемого (в среде этологов) «эгоцентричного пузыря»<sup>13</sup>, в котором наличествующие здесь и сейчас возможности по преимуществу актуализируются;
- и дальнюю периферию отложенных, будущих возможностей, связанных с предыдущими посредством потенциальной локомоции.

Из всего вышесказанного следует, что наша общая с животными телесная самость, формирующаяся на двигательно-перцептивном уровне, не есть некая идеальная субстанциональная данность, изначально противостоящая объективному миру материальных предметов и наделенная способностью удваивать его подобно зеркалу, порождая при этом квазипредметную образную реальность. Нельзя, как мне думается, видеть в ней и статичный, конечный результат становления этой отражающей способности. Скорее, конституирование обособленной и строго локализованной самости в ее конкретном на каждый момент времени состоя-

---

<sup>12</sup> О теле как исходной «системе координатных осей, которую мы носим всегда с собой» и в которой развертывается у нас процесс локализации внешних предметов, писал в свое время А. Пуанкаре (см.: *Пуанкаре А. О науке*. М., 1990. С. 245). Примечательно, что математик (правда, математик, по общему признанию математиков, выдающийся), задавшись вопросом о генезисе геометрического представления пространства и проясняя в связи с этим психологическую сторону процесса локализации, категорически настаивал на безусловном наличии в нем не только визуальной составляющей, но еще и двигательно-моторной и причем в качестве ведущей: «Локализовать предмет значит просто представить себе те движения, которые нужно было бы сделать, чтобы достигнуть его; объяснюсь подробнее: дело не в том, чтобы представлять себе самые движения в пространстве, но только те мускульные ощущения, которыми сопровождаются эти движения и которые не предполагают предсуществования пространства» (там же, с. 246). Остается только добавить, что, говоря в данном случае о подлежащих представлению мускульных ощущениях, А. Пуанкаре, в сущности, имел в виду то, что Р. Варен впоследствии назвал эголокомоцией (*Warren R. The perception of ego motion // Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance*. 1976, № 2).

<sup>13</sup> Именно так Дж. Голд называет личностное пространство, границы которого постоянно перемещаются вместе с животным (*Голд Дж. Психология и география. Основы поведенческой географии*. М., 1990).

нии следовало бы рассматривать одним из моментов непрерывно текущего процесса структуризации одушевленной реальности, чья центростремительная хромотопическая морфология, обязанная своим возникновением функциональной проприоцепции, всей своей сутью уже изначально предполагает эту самую телесную самость в качестве абсолютно необходимой для развертывания двигательной активности животного точки отсчета.

Иными словами, постоянно регенерирующая, сама себе наследующая и благодаря проприоцепции самоощущающая себя самость, отвечающая в конечном счете за инерционность всего этого непрерывно текущего процесса, имеет место быть лишь постольку, поскольку предметный мир, постоянно, в каждый отдельный момент времени, предоставляя отдельной особи конкретные возможности для развертывания той или иной двигательной активности и таким образом постоянно же трансформируясь для нее в окружающий, непрерывно задает и определяет ее место в нем – в его каждом дейктическом *здесь-и-сейчас*.

Если согласиться с предложенным выше ходом рассуждений, неизбежным становится вывод о том, что в отличие от принципиально децентрированного мира косных материальных объектов, который уже по определению – поскольку это мир именно без нас, т. е. мир, не одушевленный и не осмысленный нашим собственным присутствием в нем, – доступен нам исключительно лишь в категориальном его представлении, лишь с помощью того или иного искусственного языка умозрящей науки, *эго-центричный* мир подлежащих согласованию возможностей, напротив, спонтанно начинает значить для нас еще до всякого языкового его представления и тем более категориального. Более того, можно, по-видимому, настаивать на том, что само языковое представление этого мира возможностей должно протекать у нас отнюдь не безотносительно к его одушевленной природе. По крайней мере присущая ему хромотопическая морфология, влекущая безусловную инвариантность его временных и пространственных параметров, уж точно находит свое прямое продолжение в том хорошо известном языковедам языковом факте, что многие слова, принадлежащие сфере пространственной ориентации, будучи неоднозначны по своей семантике, принадлежат одновременно и сфере временной ориентации.

Как бы то ни было, но одушевленная реальность значений-возможностей, соответствующая нашей родовой, животной самости, конституируется без посредства каких бы то ни было языковых знаков. И тот факт, что эта не означенная ими реальность практически никогда не является человеку в интроспекции, вовсе не отменяет ее и не делает ее неактуальной для нас. Ведь в течение всей нашей жизни мы, как и любое другое животное существо, продолжаем совершать, к примеру, множество локомоторных актов, настоятельно требующих от нас постоянной координации – и притом на доречевом уровне – своих телесно-двигательных возможностей с возможностями, предоставляемыми предметно-событийным миром. И хотя иной раз нам и случается выпадать из него (положим, в состоянии глубокого опьянения или столь же глубокого западения в себя по поводу целиком захватившей нас мысли) и даже удается пережить эту потенциально опасную для жизни ситуацию без сколько-нибудь ощутимых, как правило, потерь, тем не менее не может быть никаких сомнений в том, что подобная координация остается необходимым и неперенным условием нашего человеческого бытия<sup>14</sup>.

Именно остается, поскольку в жизни каждого из нас был период, когда мы еще не владели словом и наша самость могла реализовываться лишь на уровне родовой. Появившись на белый свет, мы вовсе не стремились с лихорадочной поспешностью неопита к объективному

---

<sup>14</sup> Кстати сказать, нарушение у пьяного спонтанной координации движений нередко сопровождается (по крайней мере до тех пор, пока человеческая особь еще в состоянии ворочать своим языком) попытками взять ситуацию под контроль именно за счет слова – за счет отдаваемых себе команд, словесного (часто нецензурного) комментирования их исполнения и т. п. Показательно, однако, что этот вроде бы чисто человеческий компенсаторный ход оказывается на практике не больно продуктивным, нередко оборачиваясь весьма неприятной для особи, безуспешно пытающейся подтвердить свой двуногий статус, «асфальтовой болезнью».

отражению мира. Напротив, сама телесная наша самость только начинала постепенно конституироваться с этого момента и начинала по мере того, как мир, в который мы противно нашей воле насильно выталкивались из материнской утробы, превращался для нас в окружающий мир, со всеми присущими ему структурообразующими, центростремительными интенциями. Феноменологически этот начальный этап становления нашей обособленной от матери телесной самости как раз и выражался в овладении двигательными возможностями собственного тела в их непосредственной соотнесенности и согласованности с возможностями новой внеутробной среды.

И вот здесь-то, прежде чем предпринять следующий шаг в наших рассуждениях, самое время остановиться и задаться таким вопросом – а какую же это внеутробную среду мы, собственно говоря, застаем, которая только и обладает уникальной потенцией превращаться в мир, окружающий именно человека? Получив ответ на него, мы сможем – по крайней мере я на это рассчитываю – более или менее четко обозначить ту искомую нами грань, которая уже на уровне двигательной активности и еще до всякого слова принципиально отделяет человеческое существо от животного, несмотря на все отмеченное выше морфологическое сходство окружающих их телесную самость миров.

## Глава 2

### Становление очеловеченной реальности, или По эту сторону от умозримой

Начнем с того, что вещно-оформленная внеутробная среда, чреватая видовой определенностью человека, отличается от естественно-животной по крайней мере в двух отношениях: в ней явно доминируют искусственные предметы, специально подогнанные под наши телесно-двигательные возможности, и, кроме того, в ней регулярно появляются взрослые человеческие особи, адекватно пользующиеся данными предметами и способные к их речевой артикуляции. Понятно, что эта среда предоставляет очень специфические возможности, что, в свою очередь, не может не сказываться на видовом существе человеческого существа. Так вот, чтобы распознать это видовое его существо и отличить от животного, я и предлагаю сосредоточиться сначала на тех кардинальной важности последствиях, которые влечет за собой феномен подогнанности, неизменно ускользающий, как это ни странно, от внимания исследователей<sup>15</sup>.

В демонстрационных целях, чтобы яснее проступил эффект подогнанности, воспользуемся хорошо всем знакомым по практической жизни стулом. Стул дает нам возможность сесть на него – просто в силу того, что его устройство заранее рассчитано именно на это функциональное употребление. Казалось бы, точно такую же возможность он предоставляет, скажем, и собаке. Однако, несмотря на внешнее подобие ситуаций, с психолого-семиотической точки зрения это будут два совершенно различных – и по своим последствиям, и по своему значению – события.

Для собаки, если отвлечься от изменения кругозора и всего, что связано с этим, сидение на стуле в принципе ничем не отличается от сидения на земле – и стул, и земля не дифференцированы относительно ее позы. Напротив, для нас сидение на нем есть строго маркированное событие, состоящее в том, что члены нашего тела занимают по отношению друг к другу вполне определенное положение с характерным перераспределением нагрузки (в первую очередь – между сидением, спиной и ступнями ног). Это особое положение, задаваемое и подтверждаемое на протяжении всей нашей повседневной жизни каждым конкретным стулом, фиксируется нашими проприоцептивными механизмами. И уже здесь, на уровне проприоцепции, происходит их обобщение, т. е. извлекается тот самый моторно-топологический инвариант, связанный с распределением нагрузки, угловыми смещениями суставов и т. п., который образует для нас предметное понятие стула и позволяет нам вполне адекватно и осмысленно пользоваться последним помимо всяких словесных его определений и несмотря на все возможные различия его внешних форм.

Так что же такое стул по самой его искусственной сути? Если учесть факт его специальной подогнанности под человеческое тело, т. е. в конечном счете его социальную природу, то окажется, что он, будучи прямой органом проекцией человека<sup>16</sup>, как раз и есть наша общая,

---

<sup>15</sup> Подчеркну, ускользающий от внимания даже тех психологов, которые, следуя давней и чрезвычайно продуктивной, на мой взгляд, традиции, во многом обязанным своим становлением Ж. Пиаже, вроде бы и учитывают чрезвычайно важную роль предметной среды как таковой в формировании психического аппарата любого живого существа, но вместе с тем, не видя принципиальных отличий в самой предметной среде, окружающей животного и человека, связывают очевидные различия в их психическом аппарате исключительно с тем, что уже первые проявления двигательной активности человеческого детеныша сопровождаются словесным их комментированием со стороны окружающих его взрослых особей (см., например, замечательную во многих других отношениях статью: Жуков Ю.М., Зинченко В.П. Социоисторические исследования труда и общения. (К истории становления предметных действий) // Человек в системе наук. М., 1989. С. 379–380).

<sup>16</sup> О понятии органом проекции, введенном в оборот в XIX в. немецким философом техники Э. Капом (*Kapp E. Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Entstehungsgeschichte der Kultur aus neuen Gesichtspunkten. Braunschweig, 1877*), см: *Флоренский П. Органопроекция // Декоративное искусство СССР. 1969. № 12.*

отдифференцированная, опредмеченная и вынесенная вовне телесно-двигательная возможность **сидеть**. Стул просто особым образом обозначает ее для нас, являясь ее вещно-оформленным и зрительно воспринимаемым знаком.

Подчеркиваю, вопреки общепринятым представлениям не мы в исходной для нас практической ситуации обозначаем стул, прибегая к определенному языковому знаку, а он сам – и причем до всякого слова – обозначает сначала нас, продолжая и далее, после его номинации, неизменно отсылать к нашей конкретной и маркируемой им самим телесно-двигательной возможности. Оказываясь в нашем окружении, он уже изначально обладает совершенно определенной, центростремительной, или, по-другому, *эго*-центричной интенцией, которая может проясниться для человека не в сфере вербальных инструкций, а лишь в ходе его практического функционально оправданного употребления. И этим вещественным знаком, имеющим для нас – в отличие от естественных объектов – вполне устойчивое, фиксированное и отнюдь не диффузное значение, мы можем уже сознательно и произвольно манипулировать (в буквальном смысле этого слова), порождая новые синтагмы опредмеченных возможностей непосредственно в момент преобразования внешней среды. Поскольку стул, помимо сидения, рассчитан еще и на перемещение (он не прикреплен к полу и относительно легок), мы в состоянии, положим, придвинуть его к столу и сесть не только на стул, но одновременно еще и за стол.

Естественно, что все это в принципе недоступно собаке хотя бы уже потому только, что стул имеет для нее лишь самое размытое и чисто ситуационное значение. Стул просто не может приобрести в данном случае знаковый характер, поскольку он, предоставляя ей возможность сесть, не фиксирует с однозначной необходимостью эту телесно-двигательную возможность и остается, по сути дела, неспецифическим, не выделенным относительно нее. Судя по всему, мир, окружающий собаку (как и любое другое млекопитающее за исключением единственно человека), – это и есть своеобразный мир значений без знаков, мир не опосредованных артефактами возможностей, постоянно диффузных, ситуационно текучих и предметно не закрепленных; мир, предполагающий скорее извлечение уже имеющихся возможностей и поиск новых за счет локомоций, чем активное их порождение. И в этом своем качестве он с полной определенностью противостоит человеческому как знаковому по преимуществу, а потому изначально допускающему свое активное преобразование, хотя бы даже и на уровне комбинаторики опредмеченных возможностей.

Итак, анализ феномена подогнанности, распространяемый в принципе на все бытовые артефакты в целом – а я просто не вижу принципиальных оснований, препятствующих подобной генерализации<sup>17</sup>, – позволяет сделать важнейший в методологическом отношении вывод. Внешняя искусственная предметная среда, которую мы застаем с первых же дней нашей жизни, является знаковой уже по самой своей искусственной сути. В отличие от естественно-животной она обладает – причем до всякой, подчеркиваю еще раз, речи – выраженной потенцией превращаться в мир, окружающий именно человека, т. е. существа, чья видовая природа, в противовес родовой, сущностно определяется его знаковой компетенцией. Если учесть, однако, что в данном случае знаки представляют собой опредмеченные и вынесенные вовне телесно-двигательные возможности человека и что им, следовательно, как подлинным его органомпроекции изначально присуща обратная, центростремительная и *эго*-центричная интенция, однозначно

---

<sup>17</sup> Можно только заранее ожидать, что для ряда предметов их зафиксированное проприоцептивными механизмами обобщенное значение, как и в случае со стулом, будет соотноситься преимущественно со статикой человеческого тела, в то время как другие будут выступать скорее знаком его динамических возможностей. Последнее, видимо, коснется в первую очередь детских игрушек и простейших орудий домашнего обихода (ложек, вилок и т. п.), предполагающих, что в движении благодаря захвату они могут непосредственно включаться в схему тела человека, фиксируя и одновременно обозначая моторно-топологический инвариант функционально предусмотренной ими предметной операции. О схеме тела человека, по отношению к которой локализуются сигналы кожной чувствительности и границы которой могут простираются дальше физических границ самого тела за счет включения в нее задействуемых нами орудий труда, см. подр.: *Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р.* Психология восприятия. М., 1973. С. 212–213; см. также: *Бернштейн Н.А.* О построении движений. М., 1947. С. 121–122.

связующая их с обобщенным предметным понятием, представленным в нас прежде всего на биодинамическом уровне проприоцепции, – если, повторяю, учесть все это, то тогда и проблема значения языкового знака предстанет перед нами в несколько непривычном свете.

В первую очередь это коснется индикативной функции слова, которую со времени Л. С. Выготского принято называть предметной отнесенностью. Насколько мне известно, адекватность данного выражения существу вопроса никем в отечественной психологии не ставилась до сих пор под сомнение. Все, так или иначе, сходятся на том, что языковой знак в этой своей указующей функции работает как бы по схеме индикативной дуги, берущей начало в человеке и обрывающейся на именуемом им предмете. А между тем из всего, что говорилось ранее по поводу феномена подогнанности, должно быть уже совершенно ясно, что абсолютное противопоставление сигнификативной функции языкового знака функции индикативной и сведение последней исключительно к предметной его отнесенности, к простому указанию на предмет недопустимо упрощает реальную картину семиозиса, отражая лишь половину того единого замкнутого кольцеобразного процесса, в котором на деле участвуют слова, маркирующие практически осваиваемые нами с детства бытовые артефакты.

На этом приходится настаивать, поскольку в данном случае именуемый словом предмет, будучи сам однозначно читаемым знаком и к тому же знаком с прямо противоположной, центростремительной направленностью, отсылает его обратно – к выявленной, зафиксированной и обозначенной им самим двигательной-рецепторной возможности человеческого существа. Индикативный цикл в результате замыкается, и слово, опосредуясь сначала предметом, а затем и предметным понятием, непосредственно вживленным в биодинамическую чувственную ткань нашего тела, получает резко выраженную *эго*-центрическую направленность.

Опережая возможные возражения, сразу же скажу, что подобная *эго*-центрическая направленность языкового знака ни в коей мере не может рассматриваться в качестве сколько-нибудь существенного препятствия к достижению нами взаимопонимания при повседневном речевом общении. Ведь сама *эго*-центричность слова прямо предполагает здесь и одновременную его антропоцентричность и предполагает уже в силу того только, что у каждого человека за сходной предметной отнесенностью слов будут изначально скрываться сходные предметные понятия, которые сформировались у всех нас на уровне предметных действий в виде принципиально сходных – благодаря анатомическому нашему подобию – проприоцептивных инвариантов.

Естественно, что весь этот сложный процесс циклического опосредования, который разворачивается в искусственно оформленной вещной среде и в ходе которого языковой знак спонтанно приобретает сходное для всех носителей языка значение (что, замечу в скобках, только и обуславливает, в конечном счете, возможность межчеловеческой коммуникации), проходит мимо объективистски ориентированного лингвиста, целенаправленно и сознательно стремящегося к тому, чтобы дать семантическое представление слова в его полном отвлечении от телесной сущности человеческого существа. В этом своем стремлении он фактически основывается на все том же крайне упрощенном понимании семиозиса, и конкретнее – на прямом редуцировании индикативной функции языкового знака до одной его предметной отнесенности.

Подобное редуцирование дает о себе знать в целом ряде направлений лингвосемантических исследований, но особо выделяется на этом общем для них неблагоприятном фоне так называемый компонентный анализ, наиболее, по-моему, последовательно реализующий объективистский подход к лексическому значению слова. Впечатляют в данном случае даже не столько конечные результаты анализа, нередко просто обескураживающие своей очевидной тривиальностью, сколько неотрефлексированность самих его процедур, призванных вроде бы обеспечить искомую объективность разыгрываемого лингвистом на сцене собственного умозрающего сознания семантического представления слова. Остановимся в связи с этим на одном

частном примере, касающемся того же стула, который в учебных – и это особенно для нас показательно – целях, чтобы нагляднее продемонстрировать заинтересованной студенческой публике самое суть компонентного анализа, приводится в одной из относительно недавних обзорных лингвистических работ по семантике.

«Семантика языковых единиц, – пишет автор, – описывается, как правило, не независимо, а в сопоставлении с другими языковыми единицами, как правило, близкими по значению. Существующее между ними семантическое сходство представляет собой базу для сравнения. В результате такого сопоставления выделяются прежде всего компоненты смысла, различающие данные языковые единицы. Так, естественно, описывая значение слова *стул*, сравнить его со словами *табуретка* и *кресло*, в результате чего выясняется, что в значении слова *стул* должен присутствовать компонент ‘спинка’ (в отличие от *табуретки*) и отсутствовать компонент ‘ручки’ (в отличие от *кресла*). Пары *стул* – *табуретка* и *стул* – *кресло* являются своего рода минимальными семантическими парами, т. е. словами, которые различаются только данными компонентами значения»<sup>18</sup>.

Особенно замечательна во всем этом пассаже та естественность, с которой автор употребляет слово *естественно*, не задаваясь при этом вопросом, а почему это кажется ему совершенно естественным сравнивать *стул* именно с *табуреткой* и *креслом* или, говоря иначе, откуда он, собственно, знает заранее, что эти языковые знаки, не имеющие в фонетическом отношении никакого между собой сходства, действительно близки по своей семантике? Неужели потому только, что в их значениях – как мог бы, наверное, ответить лингвист, оставаясь в пределах компонентного анализа, – имеются такие общие «компоненты смысла», как ‘ножки’ и ‘сиденья’? Или все-таки дело в другом и именно в том, что все соответствующие этим языковым знакам обиходные артефакты – и стул, и табуретка, и кресло – представляют собой сходные в своей основе органопроекции человеческого существа и эта их общая проекционная суть еще прежде всякого лингвосемантического анализа многократно была испытана и выявлена им уже на практике с помощью адекватных предмету телесных действий, которыми с помощью взрослых он овладел еще с раннего детства<sup>19</sup>?

Я прекрасно понимаю, что строгие правила игры в компонентный анализ, предписывающие лингвисту жестко ограничиваться в своей работе одними чисто формальными процедурами, запрещают задаваться такими «некорректными» вопросами. Ведь их постановка сразу же поставила бы под сомнение искомую чистоту проведенного анализа, в котором по самой идее его формальности (и соответственно – дурно понятой объективности) ничего не должно быть замешано от человеческого естества (как будто само это естество не есть объективная

<sup>18</sup> Ср.: Кронгауз М.А. Семантика. М., 2001. С. 99—100.

<sup>19</sup> Заострю свою мысль до предела. Если бы наш условный субъект компонентного анализа уродился бы, положим, существом разумным, но при этом (не приведи, конечно, Господи) членистоногим, то ни назначение данных артефактов (дать отдых определенным группам мышц, освободив их от нагрузки), ни соответственно значения языковых знаков, отсылающих к этим дающим нам отдых артефактам, так и остались бы – в силу самой членистоногости его телесного естества – совершенно недоступными для него несмотря на все старания его взрослого позвоночного окружения на словах объяснить ему в детстве, что такое стул. Ведь его жесткий наружный панцирный скелет, решая задачу устойчивости, не нуждался бы (в отличие от внутреннего скелета позвоночного существа) ни в какой помощи со стороны мышц и соответственно ни в каких артефактах, которые периодически снимали бы с этих мышц нагрузку. Отдохновение приходило бы к такому членистоногому субъекту компонентного анализа уже в тот ровно момент, когда он просто застыл бы в статической позе, какой бы нелепой и неудобной с точки зрения позвоночного существа она ни была. И это, в свою очередь, обернулось бы для него полной неспособностью провести компонентный анализ слова *стул*, поскольку сравнивать его со словами *табуретка* и *кресло* представляется совершенно естественным только тому, в чьей биодинамической чувственной ткани соответствующие этим словам артефакты были бы уже загодя представлены конкретными проприоцептивными инвариантами, действительно обладающими для нас, существ позвоночных, хотя и частичным, но все-таки несомненным сходством. Краткая справка для несведущих, как и автор, в физиологии: в отличие от позвоночного животного, чьи попеременнополосатые мышцы, вынужденные разом исполнять и двигательную функцию и опорную, работают у него постоянно, даже когда оно находится в статичном положении, у членистоногих те же мышцы, избавившись благодаря внешнему панцирному скелету от опорной функции, работают только как двигатели, которые включаются лишь во время движения животного (см. подр.: Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. М., 1991. С. 77–80).

данность). Но что же это за правила тогда и каков в них вообще-то смысл, если с их позволения можно без всякой задумчивости вполне удовлетвориться простым закавычиванием языковых знаков, отсылающих к вещественным компонентам предметов (в данном случае – к зримо наблюдаемым сиденьям, ножкам, спинкам и ручкам), и приписыванием им (по аналогии с фонемами) статуса «дифференциальных семантических признаков», или, выражаясь иначе, «дифференциальных сем»?

Очевидно, что преследуемая формалистом чистота семантического представления *стула*, которая помимо экстероцептивно трактуемого зрения (полностью совпадающего, кстати сказать, при такой упрощенной трактовке с чистым умо-зрением) не допускает в принципе никакой отсылки к человеческому естеству (за исключением, разумеется, мозга и глаза как анатомических представителей все того же отвлеченного умо-зрения), достигается здесь за счет именно этой, весьма нехитрой процедуры закавычивания, прямо сводящей компонентный анализ языковых знаков к компонентному анализу внешних объектов внеязыковой действительности – к умозрительному разъятию их на зримые части и к последующей их умозрительной же сборке, графически представляемой обычно уравнениями типа: *табуретка* = 'ножки + сиденье', *стул* = 'ножки + сиденье + спинка', *кресло* = 'ножки + сиденье + спинка + ручки'.

Функциональная роль кавычек, являющихся по сути дела важнейшими операторами метаязыка компонентного анализа, как раз и заключается здесь в том, чтобы подобно волшебной палочке мага мигом обращать прозреваемые бестелесным субъектом лингвосемантического опыта материальные компоненты стула в «дифференциальные семантические признаки». При этом сам компонентный анализ, будучи доведен по индикативной дуге буквально в данном случае до ручки, фактически обрывается на них, и единственно разумный и, конечно же, неоспоримый по своей тривиальности вывод, который в конечном итоге можно сделать здесь из него, состоит единственно в том, что слово *стул* именуется предметом, у которого – как о том действительно свидетельствует наше зрение – есть спинка (в отличие от табуретки) и отсутствуют ручки (в отличие от кресла).

Если же, однако, не поддаваться завораживающей магии кавычек, посредством которых конструкция стула прямо у нас на глазах (но при этом чисто иллюзионистским способом) преобразуется в значение соответствующего ему языкового знака, несложно будет заметить, что вся претензия на чистоту формального описания так и остается на деле одной лишь голой претензией. Об этом приходится говорить хотя бы на том основании, что весь проведенный анализ, вопреки всем принятым самим же лингвистом правилам игры, изначально предполагал под собой наличие у него не только зрительного, но и согласованного с ним проприоцептивного опыта, который, не доходя до сознания исследователя, просто не был эксплицитно представлен в предлагаемом им семантическом представлении *стула*.

Тем не менее, несмотря на всю свою недоходчивость, именно этот опыт, оставаясь, как это и бывает обычно в нашей повседневной практической жизни, за порогом сознания, властно управлял вниманием лингвиста на всем протяжении анализа, заставляя его останавливать свой заинтересованный взгляд на всех этих с легкостью вычленяемых нами ножках, сиденьях, спинках и ручках, брать соответствующие им слова в кавычки и затем с легкостью же приписывать каждому из закавыченных слов значение «дифференциальной семы». Но ведь притягивали его взгляд эти вещественные компоненты и становились для него действительно значимыми лишь потому только, что все они, являясь прямыми предметными органопроекциями человека – о чем говорят в данном случае даже сами их названия: *ножки, сиденье, спинка, ручки*, – прямо сигнализировали ему не просто о различной конфигурации объектов, как они выглядели бы с «точки зрения вечности», абстрагированной от любого конкретного телесного устройства живого существа, а прежде всего о тех в принципе сходных и лишь частями различающихся двигательных возможностях, которые и табуретка, и стул, и кресло в качестве предназначенных для сидения бытовых артефактов предоставляют ему как вполне определенному телесному

образованию, наделенному среди прочего ногами, седалищем, спиной и руками, для перераспределения статической нагрузки на собственное тело.

Ведь и в самом деле, усаживаясь на эти стоящие на **ножках** артефакты, мы по необходимости сгибаем наши собственные более-менее прямо стоящие **ноги** и, освобождая их в значительной мере от нагрузки, перемещаем ее в основном на наше собственное **седалище**, находящее надежную опору в **сиденье**. По этому двигательному параметру все три предметных понятия: 'табуретка', 'стул' и 'кресло', – являясь результатом спонтанного обобщения проприоцептивного опыта, действительно перекрывают друг друга в смысловом отношении, заранее обуславливая тем самым (благодаря в основном наличию у всех нас равновесного телесного низа и в первую очередь зада) спонтанную оценку соответствующих языковых знаков как близких по своей семантике.

В отличие, однако, от табуретки оба других артефакта, и стул и кресло, предоставляют нам дополнительные возможности для перераспределения статической нагрузки между различными частями нашего тела. Оба позволяют нам хотя и с разным весом, но все-таки прилечься **спиной** к **спинке**, а кресло, кроме того, облокотиться еще **руками** на **ручки** (или, точнее, **локтями** на **подлокотники**). И вот по этим уже параметрам предметные понятия стула и кресла отличаются как друг от друга, так и от понятия 'табуретка', что в свою очередь позволяет нам со знанием дела, но притом без какого бы то ни было знания вербально-логического порядка вполне осмысленно оперировать соответствующими языковыми знаками.

Таким образом, умозрительно воспринимаемая конфигурация табуретки, стула и кресла сама по себе вовсе не играет той определяющей роли, которую приписывает ей здесь лингвист, когда кладет ее в самое основание семантической конфигурации языкового знака. На самом деле их внешний вид актуален для нас лишь в той преимущественно мере, в какой он уже на расстоянии позволяет нам считывать предоставляемые ими и телесно усвоенные прежде возможности, выступая в качестве зрительного ориентира, включенного скорее в структуру локомоторного действия и задающего в случае надобности дать отдых своим ногам четкую направленность нашему перемещению в пространстве.

А вот когда, приблизившись, мы все-таки реализуем уже возможности и, сократив расстояние практически до нуля, садимся на эти предназначенные для сиденья артефакты, вот в этот-то как раз момент в силу одного нашего телесного устройства нам приходится – просто для того, чтобы совместить определенные части своего тела с соответствующими телесными проекциями, – отвернуться от них, вывести их из поля собственного зрения, и, пока действие еще не доведено у нас до автоматизма, использовать в качестве вспомогательных предметных ориентиров, косвенным образом способствующих точному попаданию нашего зада в желанную цель, любые другие объекты окружающего мира, видимые с места совершения действия.

С этой низменной точки зрения, учитывающей наличие у нас помимо понимающей головы еще и равновесного и тоже разбирающегося кое в чем телесного низа, могущего при случае входить в состав функционального органа мышления, поведение развоплощенного субъекта лингвосемантического опыта, вынужденного опираться в своем усеченно-умозрительном представлении *стула* на чисто зрительный образ в его полном отрыве от проприоцепции, оказывается в каком-то смысле сродни поведению малого ребенка, когда у того еще не сформировалось вполне адекватное данному предмету телесное действие. Решая двигательную задачу, ребенок до определенного возраста также не в состоянии (как правило) отвести свой взгляд от стула и склонен забираться на него (даже когда он соразмерен его телу), повернувшись к нему лицом и опираясь в своих действиях на зрительно воспринимаемую и тактильно подтверждаемую информацию относительно конфигурации данного артефакта.

Однако ставить это в вину малому ребенку, конечно же, не приходит в голову, поскольку в отличие от взрослого лингвиста, безвольно поддающегося дурному влиянию своего лишенного тела умозрящего двойника, он все-таки добивается своего и добивается несмотря на то,

что вещно-оформленная задача, которая предметно стоит перед ним в виде стула, имеет по психологической своей сути характер ярко выраженного двигательного оксюморона. Ведь для того, чтобы сесть на стул и таким образом соединиться с ним телесно, зрительно он бы должен как раз отвернуться, отстраниться от него, т. е. совершить действие с прямо противоположной, дизъюнктивной, смысловой направленностью, что, как показывает практика, дается нам лишь с течением времени.

Все, таким образом, говорит о том, что в рассматриваемом нами примере и *стул*, и *табуретка*, и *кресло* в своей индикативной функции отсылают нас сначала к артефактам, специально подогнанным под наши же собственные телесно-двигательные возможности, а затем, опосредуясь этими знаками-артефактами, обладающими эгоцентрической направленностью, и к нашему посюстороннему местоименному *Я*, и причем к такому, которое уже имело место быть на том же стуле, табуретке и кресле и в биодинамическо-чувственной ткани которого уже сформировались непосредственно связанные с ними проприоцептивные инварианты, составляющие основу живых предметных понятий, спонтанно обеспечивающих вполне адекватное оперирование словом в нашей повседневной практической жизни.

Не сомневаюсь, что подобный же ход рассуждений, основанный на кольцеобразной трактовке индикативной функции языкового знака, в полной мере приложим и ко всем другим словам, относящимся к обиходным артефактам. Каждое из них, отсылая на первом шаге к предметам, а на втором – и уже в обратном направлении – к нашему телесно-двигательному *эго*, однозначно помещает нас в центростремительный окружающий мир, причем помещает изначально готовыми к восприятию совершенно конкретной выборки из всего необозримого множества возможностей, порождаемых нашим непосредственным присутствием в нем всем своим полноценным человеческим составом. И именно в этом установочном действии, которое совершает над нами каждый такой языковой знак ровно в тот момент, когда совершенно определенным образом начинает нас ориентировать в одушевленной реальности окружающего мира, как раз и заключено в данном случае его подлинное для нас значение.

Неизменно предполагая под собой живое предметное понятие, воплощенное (буквально) в нашем постепенно очеловечивающемся под воздействием обиходных артефактов телесном существе, каждый такой языковой знак позволяет нам с детства не только с легкостью вычленять означенные им наши собственные опредмеченные в артефактах телесно-двигательные возможности, опосредованно манипулировать ими, произвольно комбинируя с другими, также означенными с помощью других языковых знаков, но – и в этом принципиальное отличие последних от знаков-артефактов – произвольно обходиться до времени без какого бы то ни было реального преобразования оптически актуальной на текущий момент времени предметной ситуации. Благодаря использованию языкового знака выбор единственной из всех имеющихся в наличии здесь и сейчас возможностей может целиком переместиться теперь в область словесно маркированных смыслов, относительно свободное оперирование которыми в этом их маркированном виде окончательно приводит наше собственное сознание в себя, т. е. в состояние, когда оно в состоянии работать и со знанием вроде бы дела, но одновременно и уже в полном временном отрыве от практической реализации последнего.

Подводя итоги сказанному выше относительно индикативной функции слов, маркирующих специально подогнанные под телесно-двигательные возможности человека обиходные артефакты, можно настаивать на том, что, вопреки широко распространенным среди лингвистов представлениям, реально значимое для нас денотативное пространство каждой такой отдельно взятой языковой единицы отнюдь не ограничивается на деле отдельно же взятым и изолированным от самого дела предметом. Напротив, его образует целостный и изначально скоординированный относительно нашей собственно человеческой самости ситуационно-смысловой комплекс, в который в качестве постоянных его составляющих помимо самого предмета непременно входят также и адекватное ему действие и адекватно действующее ему

лицо<sup>20</sup>, а кроме того, в качестве переменной уже величины, и ряд других смежных с ним по ситуации объектов, образующих в повседневной нашей жизни наиболее типичное для него предметное окружение<sup>21</sup>.

Несмотря на все различия в части конкретного содержания таких денотативных комплексов, все они будут сходиться в отношении своего внутреннего строения. Каждый из них в равной степени представляет собой *эго*-центрично структурированный смысловой гештальт, сформировавшийся ранее в сфере предметно-практической деятельности. Закрепляясь на уровне лексики под именами энного числа уже освоенных нами обиходных артефактов, они образуют в своей совокупности *n*-мерный ансамбль семантических полей с общей для них всех точкой пересечения в нашей постепенно приходящей в сознание (и, наоборот, все больше обособляющейся во времени от той же предметно-практической деятельности) человеческой самости. Последняя с началом образования в раннем детстве подобного рода ансамблей будет определяться (хотя бы в тенденции) не столько определённой означенных артефактами телесно-двигательных возможностей, уже значительно суженных по сравнению с теми, что анатомически доступны для любого человеческого существа, сколько содержательной определённой всех означенных словами ситуационно-смысловых комплексов-гештальтов, составляющих вместе динамически устойчивую в своей центростремительной интенции *n*-мерную (при постоянно возрастающем с возрастом *n*) структуру.

Так вот, в свете излагаемой здесь «рабочей» гипотезы именно эту формирующуюся в раннем детстве центростремительную структуру, имеющую прямое отношение к нашей только становящейся еще и постепенно приходящей в сознание видовой человеческой самости, имеет прямой смысл рассматривать в качестве наиболее вероятного прообраза будущей *я*-центрированной структуры личностных смыслов индивида, определяющих с содержательной стороны его мыслительные, речевые и поведенческие возможности. Судя по всему, в своем исходном и поначалу совершенно непритязательном виде эта структура начинает складываться у нас в непосредственной связи с весьма ограниченным числом наименований простейших бытовых артефактов (начиная, положим, с самой какой-нибудь незамысловатой детской игрушки). Тем не менее, раз сформировавшись в онтогенезе, именно она задает на будущее тот ведущий организационный принцип, которому подчиняются в дальнейшем все остальные усваиваемые нами в сотрудничестве со взрослыми повседневные житейские слова.

Главное здесь состоит, видимо, в том, что все они, отсылая ребенка к реалиям окружающего его мира его же собственных возможностей, встраиваются так или иначе в эту уже сложившуюся прежде структуру и образуют все вместе единый смысловой ансамбль с единой для них всех точкой отсчета, обозначаемой (с определенного возраста) дейктической лексемой *я*. Судя по всему, к первоначальному формированию такого *я*-центрированного смыслового ансамбля, образованного всеми словами, маркирующими отдельные центростремительные комплексы-гештальты, как раз и сводится суть того решающего для становления каждой человеческой особи события, которое на первый (и, замечу в скобках, крайне поверхностный) взгляд выглядит как чисто техническая процедура – как простое введение в детскую память все большего числа вербальных обозначений отдельно взятых (и причем не детскими руками) объектов.

<sup>20</sup> В сущности, именно к этой трехчастной и наиболее устойчивой зоне денотативного комплекса отсылают обычные, рассчитанные на грамотного обывателя, толковые словари, когда в статьях, посвященных названиям обиходных артефактов, помимо внешнего вида фиксируется, как правило, и их функция. Ср. типичное толкование *стула*: «Предмет на четырех ножках, без подлокотников, обычно со спинкой, предназначенный для сидения одного человека».

<sup>21</sup> Для того же стула (в отличие от кресла) таким объектом является в первую очередь стол, чаще всего оказывающийся в поле нашего зрения, когда мы, садясь на стул, поворачиваемся к нему задом. Смысловая связь между парой этих артефактов настолько устойчива, что, преломляясь в конструкторском решении, закономерно подводит к идее парты как своему возможному материальному воплощению.

Никакая сколько-нибудь продуктивная в познавательном отношении аналогия с вводом данных в компьютерное устройство здесь, разумеется, не проходит в принципе. И если отдельные объективистски ориентированные лингвисты в связи с усвоением ребенком естественного языка все-таки уже успели преуспеть в компьютерной метафорике, не испытав при этом в себе ни малейшего сопротивления материала, то это лишний раз свидетельствует только о том, что присущие им пред-рассудочные представления о разумности человеческого существа, от которых они явно или неявно отталкиваются при так называемой идеализации объекта лингво-семантического исследования, являются насквозь механистичными, воспроизводящими абсолютно анахроничные и, более того, наихудшие образцы нововременной антропологической мысли XVII века, склонявшейся подчас к прямому отождествлению человеческого мышления с исчисляющей работой счетно-решающей машины<sup>22</sup>.

Как бы там ни было, но из всего, что говорилось ранее, прямо вытекает, что овладение в детстве естественным языком нельзя рассматривать в отрыве от фундаментального процесса постепенного очеловечивания телесно-двигательного существа ребенка, который начинает определяться в собственно человеческих своих возможностях лишь по мере того, как вещно-оформленная и потенциально знаковая для него искусственная предметная среда благодаря постепенно налаживающейся у него функциональной проприоцепции, неизбежно включающей в себя помимо всего прочего еще и эмоционально-оценочный компонент, начинает актуально окружать его.

Нельзя, не противореча себе, одновременно исходить в своих теоретических построениях из того, что человек, пусть и малого совсем объема, как бы есть уже изначально (т. е. прежде того момента, как косная объективная реальность стала трансформироваться у него в одушевленную реальность окружающего его мира его же собственных возможностей) и вот только затем в него, вроде бы и имеющегося уже в наличии, помещают еще дополнительно, будто в порожнюю емкость, определенную «языковую картину», которая снабжает это пустопорожнее, но несмотря на это все же человеческое уже существо некоторой программой, навязывающей ему, наличествующему помимо мира, определенный взгляд на наличествующий помимо него мир<sup>23</sup>.

Нельзя – если мы хотим, конечно, полнее понять реальную роль языка, не трактуя его до опыта (как это делается раз за разом объективистски ориентированными лингвистами) лишь в качестве средства межчеловеческого общения и соответственно не сводя заранее его функцию до чисто инструментальной, – полностью игнорировать те фундаментальные семиотические процессы, в которые ребенок практически вовлекается всем своим телесным существом с самого момента своего рождения и в которых наряду со словами в качестве своеобразных знаков его двигательных возможностей с самого начала задействованы также однозначно читаемые (в отличие, подчеркну еще раз, от лишенных такой однозначности природных объектов) обиходные артефакты.

---

<sup>22</sup> О математических пред-рассудках рационалистической западноевропейской культуры, лежащих в самой основе подобного отождествления, см. *Послесловие* к данному изданию.

<sup>23</sup> Попытка А. Вежбицкой и ее сочувственников избежать этого явно несообразного хода мысли за счет предварительного заполнения «пустопорожней емкости» некоторым числом врожденных универсальных понятий ничем практически не отличается в решающем (с моей точки зрения) пункте от стремления критикуемых ею лингвистов трактовать вопрос об усвоении ребенком естественного языка по аналогии с вводом программы в компьютерное устройство. Обе стороны, несмотря на внешне вроде бы радикальное различие в исходных установках, в равной мере не учитывают первостепенную роль предметно-практической деятельности ребенка в очеловечивании его телесной самости. В частности, это касается и центрального понятия «я», которое (как на том совершенно справедливо настаивает польская исследовательница) действительно является понятием универсальным, но только не в силу его врожденной (как она утверждает) природы, а в силу универсальности сложнейших семиотических процессов, протекающих в вещно-оформленной искусственной среде и приводящих с необходимостью к становлению данного понятия у любого человеческого существа, на каком бы языке оно ни говорило.

Оставаясь на почве фактов, накопленных в отечественной психологии со времен фактического ее основателя Л. С. Выготского<sup>24</sup>, здесь следует думать скорее так, что на основе постоянной и совершенно произвольной вовлеченности ребенка в эти сложнейшие процессы он, рождаясь, по выражению Н. А. Бернштейна, «доношенным недоноском» (и в отношении анатомических органов, и уж тем более органов функциональных, включая сюда, разумеется, и орган собственно человеческого мышления), только и может трансформироваться в *существо разумное* со своим конкретно определившимся и вчерне состоявшимся местоименным *я*, которому с течением времени предстоит все больше, так сказать, оплотняться за счет все большего числа усваиваемых далее слов и стоящих за ними *эго*-центрично организованных комплексов-гештальтов, сформировавшихся как значимое для ребенка смысловое целое непосредственно в его повседневно-практической жизни<sup>25</sup>.

Вступая на предложенный выше путь рассуждений и последовательно по нему продвигаясь в заданном направлении, неизбежно приходишь к заключению, что в отличие от родовой животной самости это наше место-именное собственно человеческое *Я* изначально имеет место быть в двух разноплановых, но в то же время однотипных по своей морфологии и, более того, подлежащих обоюдной координации сферах:

– в *эго*-центрично структурированном посюстороннем мире опредмеченных возможностей, окружающих каждого человека в его повседневной жизни;

– в изоморфно этому миру организованной и эпифеноменальной по отношению к нему системе лексических значений, которая бытует в каждом из нас в виде содержательно определенвшегося *n*-мерного ансамбля ситуационно-смысловых комплексов-гештальтов, имеющих общую точку пересечения в нашем очеловеченном уже предметно-практической деятельностью телесном существе.

По отношению к повседневной разговорной речи, смысловая сторона которой состоит в первую очередь в налаживании должной координации между этими двумя морфоподобными сферами место-имения нашего *Я* (а во вторую очередь и с аналогичными место-имениями собеседующих с нами лиц), данный ансамбль играет роль потенциального текста, содержащего в свернутом виде все в принципе возможные для конкретного индивида житейские речения<sup>26</sup>. По отношению же к дейктическому *я*, которое при случае всегда готово у нас развернуться в указующий на тело жест руки, призванный прямо засвидетельствовать наше непосредственное присутствие в предметно-событийном мире (преобразуемом, подчеркиваю еще раз, одним только этим присутствием в окружающий мир), тот же *n*-мерный и центростремительный смыс-

<sup>24</sup> Накопленных главным образом в рамках сложившегося под непосредственным его влиянием деятельностного подхода, представленного прежде всего классическими трудами А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, Л.И. Божович и др. Если же говорить не о фактах, а о методологической стороне вопроса, касающегося исследования человеческой психики с деятельностной точки зрения, то здесь хотелось бы особо выделить написанную тридцать лет тому назад, но ничуть не потерявшую в своей актуальности совместную работу двух авторов: *Зинченко В.П., Мамардашвили М.К.* Проблема объективного метода в психологии // Вопросы философии. 1977. № 7. В известном смысле в этой статье подводится итог всей предшествующей исследовательской традиции, связанной с именем Л.С. Выготского, и вместе с тем формулируется принципиально новая идеология деятельностного подхода, близкая мне в какой-то мере общей направленностью на выявление зависимости высших, характеризующихся сознательностью, слоев психического от пространственно-временных структур практически осваиваемого слоя реальности.

<sup>25</sup> Осмелюсь высказать в связи с этим предположение, что нижняя возрастная граница индивидуальной человеческой памяти, за которую нам дано переступать лишь в исключительно редких случаях, окрашенных особо яркими эмоциональными переживаниями, определяется тем детским возрастом, когда у ребенка уже сформировалась пусть пока и не сложная по составу, но все-таки относительно устойчивая система *эго*-центричных комплексов-гештальтов и соответственно, когда его местоименное *я*, постепенно «оплотняясь», достигло относительно устойчивого потенциального предиктирования со стороны языковых знаков, отсылающих к этим смысловым комплексам гештальтам.

<sup>26</sup> К слову сказать, чтобы подобная координация могла действительно состояться, чтобы в момент речения определенная выборка из *Я*-центрированного множества объектов окружающего мира нашла хронотопически адекватное, но, разумеется, совсем не обязательно поэлементное отображение в определенной выборке из *я*-центрированного же множества усвоенных индивидом слов, последние как раз и должны обладать не только лексическим, но дополнительно и грамматическим значением.

ловой ансамбль играет роль, условно говоря, предиката, потенциально, но тем не менее со всей определенностью предвещающего нас в наших собственно человеческих возможностях.

Как уже упоминалось ранее, непременным условием формирования такого эго-центричного ансамбля, причем в этих двух его ипостасях одновременно, является наличие в ближайшем окружении человеческого детеныша еще одного, помимо артефактов, специфического класса объектов, а именно – взрослых человеческих особей и в первую очередь матери как аффективно маркированной среди них. Исключительная роль взрослых в становлении так называемой языковой компетенции ребенка ни у кого, в том числе и у меня, не вызывает, естественно, никаких сомнений. Тем не менее обычная (если не сказать обывательская) трактовка этой их роли – трактовка, при которой ребенок рассматривается лишь в качестве объекта внешнего воздействия, – представляется мне абсолютно неприемлемой в силу крайней ее ущербности и односторонности.

Если строго придерживаться данной трактовки, исчерпывающим образом реализуя присущий ей вроде бы объяснительный потенциал, неизбежно придешь к заключению, что окружающие ребенка взрослые, поставляя ему названия отдельных предметов, вместе с их названием поставляют ему разом (непонятно, правда, каким именно образом) и изначально будто бы готовые и четко определенные значения соответствующих слов, подлежащих лишь пассивному с его стороны усвоению. В свете, однако, сказанного здесь – и по поводу знаковой природы артефактов, и по поводу той роли, которую они играют в очеловечивании человеческого детеныша, – должно быть ясно, что ни о каком пассивном усвоении ребенком готовых значений слов естественного языка, ни о каком их навязывании ему извне в готовом виде не может быть и речи.

Ведь у нас как-никак получается, что житейские слова приобретают реальное для ребенка значение в непосредственной связи с теми живыми предметными понятиями (они же – эго-центрично структурированные комплексы-гештальты), которые благодаря активному его манипулированию артефактами буквально-таки воплощаются в его очеловечивающемся под их воздействием телесном существе и которые, раз воплотившись в нем, только ждут своего часа, чтобы получить со стороны взрослых свое словесное обозначение в момент словесного комментирования ими его двигательной активности – прежде всего предметных, а затем и орудийных действий.

Разумеется, значение языковых знаков конституируется у ребенка не только по поводу их предметной отнесенности. В данном случае я просто хочу обратить внимание на то, что с онтогенетической точки зрения принятое в лингвистике практически полное отождествление понятия как такового со значением языкового знака, равно как и вытекающее отсюда последовательное разведение и противопоставление двух его функций, индикативной и сигнификативной, не представляется сколько-нибудь оправданным. Если учесть знаковую природу самой предметной деятельности, речевое сотрудничество со взрослыми должно, по-моему, рассматриваться не единственной, но еще одной областью формирования понятий, причем понятий уже чисто вербальных, резко отличающихся от предметных именно тем, что они с самого начала действительно конституируются как значение языкового знака, приобретающего свое значение в силу непосредственной его соотнесенности с другими языковыми знаками.

К проблеме вербального значения слова и его развития в онтогенезе мы вернемся чуть ниже, а прежде задимся неизбежно возникающим при нашем подходе вопросом: а каким это образом в принципе становится возможным само речевое сотрудничество ребенка с окружающими его взрослыми человеческими особями? И здесь сразу же приходится учитывать еще одно обстоятельство, также связанное с активной деятельностью ребенка и несущее ничуть не меньшую, чем артефакты, ответственность за то, что язык уже в раннем детском возрасте оказывается в зоне его ближайшего развития. Я имею в виду тот лежащий у всех перед глазами, но практически всегда выпадающий из поля зрения фундаментальный факт, что окружающие

ребенка заботливые и исполнительные в силу этой своей заботливости взрослые всегда готовы развернуться к нему своей объектной, так сказать, стороной, регулярно предоставляя ему возможности для реализации его собственной субъектности, правда, возможности совершенно особого рода, кардинально отличающиеся от тех, которые предоставляют ему артефакты.

Главное отличие – если, разумеется, проводить его именно в срезе предоставляемых ими возможностей – состоит прежде всего в том, что посредством звуковых сигналов взрослыми можно манипулировать, производя опосредованно их руками потребные на данный момент времени изменения во внешней среде<sup>27</sup>. И эта таящаяся во взрослых уникальная возможность – быть послушными (буквально по-слушными) орудиями – актуализируется и раскрывается ребенком благодаря не предметным, как в случае с артефактами, а скорее сигнальным действиям. Последние с самого начала образуют у него второй план поведения, относительно независимый от предметного, но в то же время в известном смысле эквивалентный ему по результату. Ведь, в конечном счете, оба разряда действий прямо ориентированы на удовлетворение собственных потребностей ребенка, и, что важно подчеркнуть, он сам, на своем собственном опыте, довольно скоро убеждается в их эквивалентности<sup>28</sup>.

Естественно, что постепенное овладение поведением взрослых посредством звуковых сигналов точно так же, как и овладение собственным поведением посредством *эго*-центричных по своей интенции знаков-артефактов, начинается задолго до употребления слов, чуть ли не с самого рождения. И на всем протяжении этого до-речевого периода сигнальная деятельность ребенка остается лишенной знаковой функции, а знаковая (в данном случае – предметно-манипуляционная) сигнальной. Регулярное же и последовательное их совмещение в одном действии и составляет, по-видимому, суть того переворота, который отмечен активным употреблением слова. В слове пересекаются обе линии развития и обе функции, и с этого момента во все возрастающей степени начинает актуализироваться другая возможность, предоставляемая ребенку взрослыми, – возможность речевого сотрудничества с ними и артикулированного взаимопонимания.

Прямым следствием подобного сотрудничества становится усложнение структуры значения языкового знака. Отныне слово начинает значить для ребенка не только в силу одной предметной, но еще и словесной отнесенности. По ходу усвоения ребенком типичных для взрослого его окружения обыденных речений все сформировавшиеся в нем ранее смысловые комплексы-гештальты, которые до этого маркировались им, как правило, одним-единственным словом – игравшим, однако, на деле роль целого предложения у него – получают теперь все более расчлененный и все более артикулированный вид.

По мере вхождения предметно ориентированного слова в постепенно усваиваемые ребенком речевые синтагмы взрослых оно спонтанно начинает устойчиво ожидать и предполагать у него не только сам предмет, не только его самого в качестве действующего лица, не только адекватное данному предмету действие, не только смежные с ним по ситуации объекты, но – и это главное – множество других самых разнообразных слов естественного языка, а уже среди всего этого разнообразия, в котором опосредованным образом представлен несравненно больший по объему повседневный житейский опыт его взрослого окружения, и те, в частности, из них, которые именуют все только что перечисленные мною и безымянные прежде у ребенка составные части уже сложившегося в нем ранее *эго*-центричного комплекса-гештальта.

<sup>27</sup> Говоря об этом очевидном различии, я все-таки не уверен, что оно изначально и в достаточной степени отчетливо сознается самим ребенком. По крайней мере один мой в меру упитанный, выражаясь деликатно, деревенский знакомец, двух с небольшим лет отроду, более-менее регулярно адресовал свои словесные приказы не только к окружающим его взрослым особям, но и к неодушевленным предметам. В частности, мне неоднократно приходилось наблюдать, как он, не обращая никакого внимания на присутствие родных, подходил к стоявшему в углу избы старенькому холодильнику и требовательным голосом отдавал команду: «Сосиска, выходи!»

<sup>28</sup> Нагляднее всего об этом свидетельствует детский каприз, когда ребенок не может или не хочет сделать что-то сам и всем своим видом (крича, плача и т. п.) сигнализирует взрослому, чтобы тот совершил потребные ему изменения во внешней среде.

Так вот, все эти самые разнообразные и по самым разным поводам складывающиеся на пред-рассудочном уровне вербальные ожидания – сам факт наличия которых в состоявшейся человеческой особи подтверждается, кстати сказать, экспериментально<sup>29</sup> – образуют в своей совокупности уже не предметное, а именно вербальное понятие, близкое, если отставить в сторону его роль в потенциальном предцировании нашего местоименного *я*, тому, что в лингвистике принято называть семантическим полем слова, и принципиально отличающееся и своим генезисом, и своей выраженной ориентацией на речь от того же предметного понятия. Формируясь с изрядным заделом на будущее, все эти предрассудочные вербальные ожидания позволяют ребенку вполне уверенно оперировать словами и достаточно связно изъясняться при этом со взрослыми, координируя с ними свою собственную деятельность, даже в том далеко не редком случае, когда живые предметные понятия в силу ограниченности его личного житейского опыта просто еще не сложились.

Дальнейшая судьба этих впервые формирующихся вербальных понятий, далеких, подчеркну, от какой бы то ни было четкой и однозначной определенности, может складываться в принципе по-разному и иметь принципиально различные для ребенка последствия в прямой зависимости от того, в какую форму облекается его дальнейшее сотрудничество со взрослыми и с каким типом задач – только ли одного практического вида, или вдобавок к этому еще и теоретического – ему в ходе взросления приходится далее сталкиваться.

---

<sup>29</sup> Ввиду исключительной важности этого факта для дальнейших рассуждений имеет смысл чуть подробнее остановиться на предложенной А.Р. Лурией и О.С. Виноградовой специальной методике объективного изучения семантических полей, связанной с использованием ориентировочного рефлекса. Известно, что каждый раздражитель (в том числе и словесный) вызывает безусловный ориентировочный рефлекс, который, в частности, проявляется в сужении сосудов пальцев и расширении сосудов головы. Первый этап эксперимента состоит в предварительном угашении этих ориентировочных сосудистых реакций на разные слова. Затем испытуемому предъявляется тестовое слово (например, *кошка*), после чего ему дается болевое раздражение – слабый разряд электрического тока. Как показывают наблюдения, через несколько подкреплений вырабатывается условный рефлекс. Теперь на слово *кошка*, как и при болевом раздражении, сосуды рук и головы сужаются. В этот момент исследователь переходит к решающей части эксперимента и задается вопросом, какие слова вызывают такую же условную болевую реакцию, как и тестовое. В результате выясняется, что предъявление новых слов, имеющих смысловую связь с тестовым (в случае *кошки* это *мышь*, *собака*, *животное* и т. п.), вызывает ту же специфическую болевую реакцию; нейтральные слова не возбуждают никаких сосудистых реакций, а слова, сходные по звучанию, в нормальном состоянии влекут безусловную сосудисто-ориентировочную реакцию (см. подр.: Лурия А.Р., Виноградова О.С. Объективное исследование динамики семантических полей // Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования. М., 1971).

### Глава 3

## Становление умозримой реальности, или По ту сторону от очеловеченной

В «незрячих» культурах симпрактического типа, речь о которых пойдет во второй части работы, вновь возникающие перед взрослеющим ребенком задачи продолжают по-прежнему лежать все в том же осваиваемом лишь практически слое посясторонней человеческой реальности, не требуя таким образом безусловного отвлечения от нее, а следовательно, и от самого себя в ней. Совсем по-другому обстоит дело в «зрячих», теоретических культурах, аналогичных по своему устройению современной. Здесь по достижении определенного возраста ребенок начинает сталкиваться также и с такого рода задачами, успешное решение которых, напротив, с необходимостью предполагает выход за пределы окружающего мира опредмеченных возможностей в мир абстрагированных от его телесно-двигательной самости чисто умозрительных категорий, способных в своей совокупности тоже составить некоторое подобие реальности, чреватой для него, однако, уже совершенно иными, качественно новыми познавательными возможностями.

В первом случае ни о каких принципиальных изменениях в структурной организации вербальных понятий говорить, судя по всему, не приходится. Оставаясь спонтанно формирующимися множествами обоюдных пред-рассудочных ожиданий слов, они лишь увеличивают с возрастом ребенка свою мощь, а вновь образуемые по ходу решения все усложняющихся повседневно-практических задач предметные понятия, сохраняя свойство *эго*-центричного комплекса-гештальта, лишь увеличивают свое число, догоняя в этом отношении уже усвоенные им с опережением соответствующие вербальные понятия взрослых.

В результате постепенное взросление человеческой особи не приводит к кардинальному структурному преобразованию сложившегося еще в детстве *эго*-центрично организованного смыслового ансамбля. По существу, все изменения сводятся здесь к одному лишь экстенсивному росту последнего, т. е. к простому увеличению числа входящих в него ситуационно-смысловых комплексов-гештальтов, при том, что системность отношений между ними, равно как и отношений между словами, артикулирующими их, будучи заранее гарантирована изначально присущей каждому из них *эго*-центричной организацией, просто не может составить для индивида никакой проблемы, оставаясь вследствие этого целиком за порогом его сознания.

Организованный таким образом смысловой ансамбль, определяющий индивида в его повседневных возможностях (как предметных, так и речевых), однозначно ограничивает все хронотопически доступные ему место-имения одним-единственным, осваиваемым лишь практически слоем посясторонней одушевленной реальности. Всей своей одноуровневой структурой он попросту исключает возможность ауторефлексии, которая сама по себе с необходимостью предполагает прямо противоположное, а именно наличие в уже пришедшем в себя сознании именно *мета*- – по отношению к этой одушевленной реальности – позиции. Ведь в конечном счете именно она только и позволяет человеку теоретической культуры произвольно выводить себя из состояния заданности ситуационной реальностью окружающего его мира (реальностью, подчеркну, и прошлой, и настоящей, и только еще ожидаемой, но тем не менее остающейся неизменно ситуационной), чтобы затем, покидая пределы своего *эго*-центрично структурированного хронотопа и вставая уже на «точку зрения вечности», столь же произвольно возвращаться к себе в чисто умозрительном плане, делая, положим, объектом рассмотрения и собственное свое *Я*, и собственную свою мысль, и слова, выражающие ее, и отношения между ними.

Но если все эти ауторефлективные операции – просто за отсутствием в смысловом пространстве индивида необходимой для их осуществления потусторонней и вневременной метапозиции – остаются для него за пределом возможного, то в таком случае и вербальное значение слова, несмотря на все возрастающую с возрастом языковую компетенцию, будет в полной мере сохранять у него имплицитный характер. Оно и дальше будет определяться не строгими вербальными определениями, в которых слова разного семантического объема сознательно координировались бы им на основе выявления родовидовых признаков их денотатов, а спонтанно формирующимися в его повседневной жизни пред-рассудочными ожиданиями других знаменательных слов – в пределе, подчеркиваю, всех, но в первую очередь тех из них, которые произвольно и в то же время с наибольшей вероятностью актуализируются обычно в нашем сознании на первом же шаге, как, например, *стол* при предъявлении слова *стул*, или *собака* при предъявлении слова *кошка*<sup>30</sup>.

Во втором случае, наиболее представительным примером которого может служить современная нам культура, ребенок, продолжая с определенного возраста свое образование в институализированной школе, в ходе школьного своего образования начинает регулярно сталкиваться со сформировавшимися уже до и помимо него понятийными системами. Каждая из этих различающихся своим содержанием систем, будучи задана рядом вербальных определений опорных для каждой конкретной школьной дисциплины терминов, обладает предельно автономным и не зависящим от какой бы то ни было самости смыслом. Каждая из них действительно предъявляется ребенку взрослыми в совершенно законченном и объективно готовом к их употреблению виде. И вся трудность их первоначального усвоения как раз и заключается в принципиальной неготовности самого ребенка – в его неготовности ухватить присущую им системную организацию в ее полном отвлечении от спонтанно структурирующегося относительно него окружающего мира, т. е. в конечном счете, от самого себя.

Понятно, что в данном случае ни о каком спонтанном встраивании этих неспонтанных по самой своей сути понятий в структуру личностных смыслов индивида говорить уже не приходится. Ведь их успешное усвоение требует, безусловно, того, чтобы ребенок был в состоянии самолично выводить себя из состояния заданности окружающим его миром, произвольно переключая свое внимание с тех опредмеченных возможностей, которые предоставляет ему этот мир для обозначения своего деятельного присутствия в нем, на те возможности чисто умозрительного порядка, которые предоставляет ему для решения конкретных учебных задач соответствующая им по содержанию категориальная система<sup>31</sup>.

И вот ровно в тот момент, когда это, наконец, случается, когда с помощью учителя учащийся все-таки научается произвольно преодолевать свою связанность с психологическими полями одушевленной человеческой реальности за счет переориентации своего внимания с опредмеченных его возможностей на отношения между предъявляемыми ему сейчас категориальными понятиями, последние, если они действительно усваиваются им системным образом, также начинают составлять для него некоторое подобие реальности, однако реальности по определению новой – чисто уже умозрительной, в которой он, расставшись на время со своим телесным существом, может несмотря на это более или менее успешно (а порою даже и *на*

<sup>30</sup> Отгалкиваясь от экспериментально подтвержденных данных (см. выше с. 50 примеч. 29), я тем самым утверждаю, что вербальное значение слова *стул* – как ни странно это звучит для объективистски ориентированного лингвиста, склонного фактически отождествлять понятие как таковое с сознательно выстраиваемыми категориями, – определяется в нас среди всего прочего (прочего, повторюсь, самого разнообразного и принципиально, подчеркну, неопределенного) и словом *стол*, а значение слова *кошка* – словом *собака*.

<sup>31</sup> Напомню, если кто забыл, что в школе подобное переключение дается нам поначалу вовсе не так легко, что проявляется прежде всего в столь характерной для младших школьников невнимательности, которая чаще всего и есть прямой результат произвольного позиционирования ребенка окружающим его миром опредмеченных возможностей, вступающих (как та же, положим, косичка впереди сидящей одноклассницы) в конкурирующее отношение с содержанием слова учителя.

пять) экзистировать, но только в качестве бесплотного и умозрящего субъекта, аналогичного по своей идеальной и развоплощенной сути субъекту научного познания.

Заучивая школьные определения и решая стандартные школьные задачи, ребенок опирается уже не на личный житейский опыт, от которого как раз и должно теперь отвлечься, а прежде всего на объективно-системные и эксплицитно явленные ему отношения между абстрактными, т. е. отвлеченными от его посюсторонней эмпирической самости, понятиями<sup>32</sup>. Опирируя ими во время своих учебных занятий и формально овладевая, пусть и в минимальной степени, языком науки, он впервые размыкает прежнюю циклическую структуру словесного знака и таким образом преодолевает его былую эго-центрическую направленность, обусловленную, как мы видели выше, проприоцептивной природой предметных понятий<sup>33</sup>.

Внешне все выглядит так, что в процессе школьного обучения он просто приобретает неведомые ему прежде знания и умения: вот он, положим, не знал, что такое существительное или прилагательное, а теперь знает и умеет опознавать их, подчеркивая в своей тетрадке разными по форме линиями. На деле, однако, мы сталкиваемся с нечто совсем иным, не связанным напрямую с конкретным содержанием транслируемых знаний. По мере их усвоения ребенок с помощью учителя научается мимоходом – и притом совершенно незаметно для себя – абстрагироваться от своего чувственно-телесного, предметно-ситуационного житейского опыта. И это произвольно произвольное отвлечение от своей посюсторонней, эмпирической самости, становясь необходимым условием успешного решения школьных задач, само по себе конституирует у него качественно новое, умозримое смысловое пространство, чреватое принципиально новыми возможностями – возможностями чисто рефлексивного уже свойства.

Закономерным и в то же время совершенно не запланированным итогом регулярно практикуемого в школе отвлечения оказывается потеря ребенком своей естественной и произвольной встроенности в окружающий его мир и, как следствие, рождающееся ощущение проблематичности своего места в нем. Но, потеряв в непосредственности, он безмерно выигрывает в другом отношении. Лишь благодаря этой потере ребенок впервые приобретает возможность найти и более или менее произвольно самоопределить себя в качественно новой для него умопостигаемой реальности, образованной и эксплицитно формулируемыми в теоретической культуре нормами социального поведения, и объективированными в той или иной системе кодов планами и алгоритмами практической деятельности, и целым набором категориальных систем, свойственных той или иной научной дисциплине, и множеством других артефактов того же, в

<sup>32</sup> Показательны в этом отношении неудача фонвизинского недоросля Митрофанушки и весь ход его рассуждений, когда он в ответ на вопрос, является ли *дверь* именем существительным или прилагательным, в свою очередь начинает с вопрошания: «Котора дверь?» – и далее, отнеся указанную ему дверь к разряду прилагательных, обосновывает свое решение следующим образом: «Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста недель стоит еще не навешана: так та покамест существительна». Неспособность к последовательному отвлечению от своего личного опыта продолжает сказываться подчас и тогда, когда ученик внешне вроде бы овладел всеми необходимыми формальными операциями и приемами. Вот мой старший брат, третьеклассник, решает стандартную арифметическую задачу: столько-то кг. картофеля в мешке было, столько-то из него отсыпали и т. д. Брат довольно скоро справляется с ней, но тут же начинает плакать. Походит матушка и видит – задача решена правильно. «Все равно не понимаю», – сквозь слезы отвечает брат. Следует неоднократное совместное воспроизведение решения – реакция та же. «Ну, что же ты не понимаешь?!» – «Я не понимаю, что такое картофель». Дело в том, что у нас в семье говорили все больше *картошка*, и брат просто не опознал ее в непривычной *картофели*. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы у него родилось ощущение фундаментального непонимания всего решения задачи, проведенного, подчеркиваю, им же самим.

<sup>33</sup> Замечу попутно, что собственно научное мышление, по крайней мере естествоиспытателя, нередко обнаруживает обратную в какой-то степени тенденцию. Так, к примеру, многие понятия классической механики (силы, массы, ускорения, скорости, инерции и т. п.), лишённые в математическом их представлении даже намека на генетическую связь с телом, в эвристическом мышлении ученого, наоборот, тяготеют к вторичному проецированию в биодинамическую чувственную ткань, давая таким образом знать о своем первородном «плотском грехе» (показательный на этот счет материал можно найти в кн.: *Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики*. М., 1970; об особой творческой продуктивности неоречивленной мысли, исключающей контроль со стороны рации и отличающейся в силу этого повышенной вариативностью и непредсказуемостью своих ходов, см. также: *Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров*. Москва – Воронеж, 1996. С. 378–380.

типологическом отношении, рода. И поскольку операция абстрагирования просто изначально предполагает (по крайней мере – в норме) обратную процедуру, теперь это становится вопросом времени, когда именно отвлечение от своей эмпирической самости обернется для ученика последовательным возвращением к себе в вербальной интроспекции, являющейся конституирующим моментом так называемого подросткового кризиса<sup>34</sup>.

В переходном возрасте реально значимое для индивида смысловое пространство перестает совпадать в принципе с произвольно-центростремительной и как бы одноплановой посюсторонней реальностью окружающего мира согласованных возможностей. Помимо последней оно начинает вбирать в себя также и ту стороннюю по отношению к ней и лежащую уже в пределах именно умозримой реальности рефлексивную метапозицию, с которой ведется самоанализ и выносятся самооценки. И уже внутри вот этого формируемого ауторефлексией двухполюсного пространства, влекущего всей своей иерархической организацией резкое повышение произвольности подростка в отношении своего *Я*, только и может, пожалуй, поместиться совершенно неуместный для жизни вопрос о ее смысле<sup>35</sup>; только оно позволяет подростку превратиться в *существо нравственное*, измеряющее себя наличествующими моральными нормами и способное, если надобно, приступить к работе над собой подобно тому, как он приступает к работе над ошибками после неудачно написанной им школьной контрольной.

Резюмируя все сказанное выше по поводу школьного образования ребенка и используя в связи с этим образное выражение Л. С. Выготского, от идей которого я по мере сил отталкивался при толковании подросткового кризиса, можно сказать и так, что сама наша возможность более или менее отстраненно и в соответствующей этому степени произвольно и осознанно относиться к собственному нашему *Я*, к собственным нашим мыслям, равно как и к словам, выражающим их, «входит через ворота научных понятий»<sup>36</sup>. И хотя «ворота» эти, в силу в общем-то весьма ограниченного числа усвояемых нами в школе неспонтанных научных понятий, оказываются на деле узкими, именно они – если, конечно, в ученическом возрасте нам все-таки удастся протиснуться сквозь них – обуславливают далее нашу постоянную готовность произвольно совершать постоянные переходы из посюсторонне-практической реальности в реальность умозрительно-теоретическую и обратно.

И вот ровно в тот момент, когда мы уже готовы к этому, когда мы действительно образовались как индивиды с двухуровневым регистром возможностей, один и тот же языковой знак может теперь – и только, подчеркиваю, теперь – позиционировать нас и соответственно приобретать реальное для нас значение двояким в принципе образом. С одной стороны, он по-прежнему будет отсылать индивида в его полноценном психосоматическом единстве к конкретной возможности практического порядка, которая среди прочих предоставляется ему посюсторонней реальностью окружающего его мира. Но с другой стороны, реализуя другую сторону своего значения, тот же самый языковой знак будет отсылать его, уже как бесплотного субъекта тео-

<sup>34</sup> Правомерность увязывания подросткового кризиса с усвоением автономных, отвлеченных от ситуационного опыта смысловых полей подтверждается косвенным образом фактом его отсутствия в этнографических, бесписьменных обществах, для которых характерен именно симпрактический способ трансляции знаний, не выдвигающий перед ребенком познавательных задач, аналогичных по своей психологической сути школьным.

<sup>35</sup> Вообще говоря, у меня есть очень сильное подозрение, что так называемый «вопрос о смысле жизни», взятый в плане его универсальной общезначимости и требующий столь же универсального ответа, сам по себе лишен всякого смысла. В этом виде он вообще не является вопросом, и уж по крайней мере – имеющим отношение к человеческой жизни. Скорее, это просто выражение ностальгии по утраченным вследствие редукции возможностей, которой подвержен «экзистирующий» в мире сознаваемых волений и целеполаганий идеальный субъект, сохранивший в качестве рудимента плоти один лишь язык и раз за разом попадающий в языковые же (по Витгенштейну) ловушки. Никогда не стал бы об этом говорить (или, по крайней мере, в такой резкой форме), если бы этот вопрос, имеющий отношение лишь к «экзистированию» абстрактного субъекта в мире умозрительных абстракций, не приводил бы подчас к необратимым для конкретного человека последствиям в реальном мире поступков.

<sup>36</sup> *Выготский Л.С. Мышление и речь // Собрание сочинений. Т. 2. М., 1982. С. 220.*

ретического опыта, и в потусторонний мир отвлеченных от его человеческой самости неспонтанных понятий, где только и может сформироваться как установка на восприятие системных отношений между ними, так и внутренняя потребность самому выявлять (а на деле – активно порождать) эту самую умозримую системность посредством новых словесных определений того или иного рода.

Только здесь (т. е. в этом мире умопостигаемых абстракций) и теперь (т. е. начиная с того момента, как он научился произвольно вставить на позицию умопостигающего субъекта) перед индивидом – вполне, замечу, уже состоявшимся в качестве полноценного носителя культуры теоретического типа – впервые открывается широкое поле для теоретической же самостоятельности, могущей, в частности, заявить о себе и в части сознательной и последовательной систематизации всего того необозримого множества самых разнообразных слов естественного языка, которые ранее, спонтанно предизируя его местоименное *я* своим предметным и вербальным значениями, относительно этого его *я* только и приобретали системную организацию, неизменно остававшуюся, однако, – и именно по причине спонтанности и произвольности – за порогом его же собственного сознания.

Только здесь и теперь, абстрагируясь от своей телесно-двигательной самости, а тем самым и от системно представленных в самой его плоти живых предметных понятий, индивид, редуцирующий себя по ходу этого абстрагирования до бесплотного экзистирующего и умозрящего субъекта, получает наконец реальную возможность в случае каждого отдельного слова определить спонтанно сформировавшееся прежде неопределённое множество разнотипных пред-рассудочных ожиданий, образующих вместе его актуальное для повседневной нашей жизни вербальное значение. Процедура же самого определёвания будет при этом сводиться именно к отсечению всех тех многочисленных вербальных ожиданий слова, которые не имеют прямого касательства к тем объективным признакам денотата, которые представляются умозрящему субъекту, зрящему на все с единственно доступной ему «точки зрения вечности», единственно значимыми. И если, положим, эти определёвающие процедуры становятся делом всей жизни человека и после предварительной профессиональной подготовки приобретают для него в дальнейшем глубоко личностный смысл, расцениваясь им же самим как *жизнь по преимуществу*, то на выходе мы и будем иметь объективистски ориентированного лингвиста, склонного разыгрывать свои формальные лингвосемантические представления во внешне-объектной системе координат и пребывать в то же самое время в полной уверенности, что эти его представления, не имеющие, в сущности, никакого отношения к функционированию естественного языка в естественных условиях, суть один из компонентов «формального устройства, моделирующего языковое поведение людей»<sup>37</sup>.

В связи с подобным моделированием стоит, однако, обратить внимания на одну уже высказывавшуюся и в самой лингвистике мысль, которая неизбежно ставит под сомнение, коль скоро дело касается семантики, попытку подменить проблему системной организации естественного языка проблемой конструирования некоего метаязыка, механически обеспечивающего системность его интегрального описания. Речь идет о все том же антропоцентричном – или, что, в сущности, то же, *эго-центричном* – характере естественного языка, дающем о себе знать в целом ряде частных (но только на первый взгляд) фактов, свидетельствующих о том, что для многих языковых значений человеческое существо в его нераздельной психосоматической целостности выступает в качестве самой естественной точки отсчета<sup>38</sup>.

По признанию одного из ведущих представителей Московской семантической школы, в немалой, надо сказать, степени способствовавшей утверждению на отечественной почве чисто

<sup>37</sup> Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка // Избранные труды. Т. 1. М., 1995. С. 11.

<sup>38</sup> Соответствующие примеры см. в работе того же автора: Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография // Избранные труды. Т. 2. М., 1995. С. 648.

объективистского (и соответственно бес-человечного) подхода к проблеме лексического значения, лингвистике еще только предстоит сделать в будущем все вытекающие из этих фактов и далеко идущие выводы<sup>39</sup>. Мне же остается лишь надеяться, что состоявшийся выше разговор по поводу хронотопической морфологии окружающего каждого из нас мира опредмеченных возможностей, по поводу знаковой природы искусственной среды, по поводу формирующихся в ней предметных и вербальных понятий и т. д. придаст, быть может, исследователям чуть больше «онтологической уверенности» в их продвижении вперед к более глубокому пониманию антропоцентричной сущности естественного языка, а в конечном счете и его реальных генетических истоков.

Понятно, что достигнуть успеха в этом и без того многотрудном предприятии вряд ли будет возможно без предварительной и, в общем-то, малоприятной работы самого исследователя в первую очередь над самим же собой – без самоличного выявления и осознания тех своих типологических (и это как минимум) надындивидуальных пред-рассудков, коими помимо всякой нашей воли разрешается во всех нас современная теоретическая культура, постоянно навязывающая нам с большей или меньшей интенсивностью однотипные, бессознательные и, в сущности, обезличенные «фигуры мысли». Но, судя по всему, именно так неустанно повышая произвольность отношения к собственным своим пред-рассудкам, понуждающим нас, в частности, спонтанно расценивать свою способность к идеальному, теоретическому экзистированию как неотъемлемое достояние всякого разумного существа, мы только и можем хотя бы в какой-то степени противостоять этим постоянно приходящим к нам со стороны теоретической культуры и обезличивающим нас импульсам.

---

<sup>39</sup> Подводя итоги своего обзора дейктических элементов в составе лексических и грамматических значений, Ю.Д. Апресян как бы с задумом на будущее завершает его (а вместе с ним и весь свой второй том) весьма знаменательными словами: «[...] язык не только антропоцентричен, но и эгоцентричен в гораздо большей степени, чем признается в настоящее время. Далеко идущие выводы из этого факта предстоит сделать и лингвистике вообще, и лексикографии в частности» (*Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография*. С. 648).

## Заключение

### Язык как потенциальный текст культуры

Обрисованный выше антропоцентричный подход к значению языкового знака (равно как и к языку в целом) радикально отличается от подхода узколингвистического, чья узость – благополучно, правда, сочетающаяся с его весьма широким среди лингвистов распространением – заранее гарантирована их исходной трактовкой естественного языка как чисто инструментального приложения к человеку, как некоторой дополнительной оснастки, необходимой ему для артикулированного общения с другими особями того же вида. Сразу же оговорюсь: исповедуя принцип дополнительности, я вовсе не собираюсь посягать на абсолютно законное право лингвистов рассматривать язык и под инструментальным углом зрения в частности. Хорошо бы только понимать при этом, что существо, могущее использовать язык в качестве средства межчеловеческого общения, приобретает свой подлинно человеческий статус и становится существом действительно разумным лишь вследствие формирования в онтогенезе все того же эгоцентрично организованного пред-рассудочного понятийного ансамбля, без становления которого в его двух указанных ранее ипостасях говорить здесь о межчеловеческом общении нам бы попросту не пришлось – за отсутствием, собственно говоря, человека.

После всего до сих пор сказанного нетрудно, наверное, догадаться теперь, что, говоря в самом конце своего *Предисловия* об обусловленных культурой пред-рассудках как об одной из подлежащих рассмотрению тем, я с самого начала имел в виду обычный наш естественный язык, но только в том его состоянии, когда лингвисты, исходя из своих профессиональных интересов, еще не извлекли его из нас посредством процедуры научной идеализации, сотворив таким образом из него предмет языкознания. Весь состоявшийся выше разговор как раз и был в конечном счете нацелен именно на то, чтобы обратным, так сказать, ходом привести наш человеческий язык в то самое естественное для него первобытное состояние, когда он бытует еще непосредственно в нас самих в виде пред-рассудочной и эгоцентрично организованной понятийной системы и когда мы сами, в свою очередь, совершенно спонтанно и произвольно – и при этом, разумеется, каждый порознь – еще бытуем в нем непосредственно в качестве местоименного своего я.

Для историка культуры – если он стремится, конечно, разглядеть за текстом порождающую текст человеческую реальность и, что, быть может, еще труднее, понять эту самую реальность – выявление и анализ такой надындивидуальной пред-рассудочной системы должны бы представляться вдвойне необходимыми. Ведь стоящая перед ним задача ни в коей мере не может быть сведена ни к простой инвентаризации наличествующих в культуре идей, ни даже к прояснению логики их развития, каким бы важным последнее ни было для него<sup>40</sup>. Решенной, по крайней мере, в принципе, она может быть сочтена только в том единственном случае, если будет найден ответ на один фундаментальный, но тем не менее остающийся постоянно в тени вопрос – а как вообще может состояться в культуре та или иная конкретная идея, став после текстовой ее объективации реальным историческим фактом. Вот в этой-то как раз связи, чтобы прояснить хотя бы самым предварительным образом мою трактовку естественного языка как потенциального текста культуры, вариативно бытующего в каждом из ее носителей и несущего прямую ответственность за все множество состоявшихся в ней идей, имеет прямой смысл оттолкнуться в своих рассуждениях от уже введенного выше в оборот понятия пред-рассудка.

---

<sup>40</sup> Не могу удержаться, чтобы не привести здесь в качестве блестящего образца исторического исследования культуры, исполненного в жанре развития идей, статью П.П. Гайдено: *Гайдено П.П. Волонтерная метафизика и новоевропейская культура // Три подхода к изучению культуры. М., 1997. С. 5—74.*

Начну с того, что наши надындивидуальные пред-рассудки, как я понимал их до сих пор и буду понимать в дальнейшем, не имеют, разумеется, никакого касательства к тем имеющим хождение в социуме *Vor-urteile*, о которых более полувека тому назад говорил Х.-Г. Гадамер, отождествлявший их с унаследованными от своей традиции и некритически воспринятыми от нее мнениями, могущими, по словам хлопотавшего все больше о достижении «Истины» философа, быть как истинными, так, естественно, и ложными<sup>41</sup>. В моем понимании пред-рассудки, рассмотренные в их единстве, это вовсе не совокупность изолированных и по недоразумению закрепившихся в философском (или любом другом) предании мнений, истинность которых подлежит строгой оценке, а в случае необходимости и критическому пересмотру. Под ними у меня следует здесь понимать ту лежащую за порогом сознания и не только не подлежащую, но по самой своей парадигматической природе не допускающую в принципе никакой проверки на истинность запечатленную в языке глубинную понятийную структуру, которая, предшествуя работе рассудка и соответственно опережая любые состоявшиеся в каждой конкретной культуре мысли (не исключая, естественно, и «пред-рассудков» в гадамеровском их понимании), отвечает в конечном счете за то, что они вообще могли состояться в ней, объективируясь при случае в виде тех или иных синтагматически развернутых высказываний.

В моем употреблении слово *пред-рассудки* отсылает не к актуально состоявшимся и объективированным в текстах поверхностным «фигурам мысли» любого по виду характера (в форме ли расхожих, как и не расхожих идей, представлений, мнений, оценочных суждений, теорий, или к чему-либо иному из этого же ряда), а к самой принципиальной возможности их состоятельности в культуре. Взятые вместе, они образуют в своем единстве тот самый определяющий и одновременно определяющий наше человеческое *Я* понятийный субстрат, по поводу которого А. Бастиан еще в самом начале прошлого века как-то раз пронизательно заметил: «[...] denken nicht wir [...], sondern 'Es' denkt in uns»<sup>42</sup>, – и который я уже более десяти лет, начиная с конца того же прошлого века, предпочитаю называть потенциальным текстом культуры, возлагая на это ее инвариантное, неосознаваемое нами и без спроса бытующее в нас начало ответственность за не контролируемый самим мыслящим индивидом и не ухватываемый им непосредственно ни в какой интроспекции глубинный пласт его, казалось бы, исключительно собственной, но, по сути дела, отнюдь не только, а чаще всего и даже не столько собственной мысли.

Присущий каждой культурной традиции потенциальный текст, являясь в качестве бастиановского “Es” абсолютно необходимой предпосылкой для становления мысли как таковой, в одно и то же время и определяет и определяет решающим образом ее носителя в его речевых, мыслительных и познавательных возможностях. Формируется потенциальный текст, придающий проблемному полю каждой конкретной культуры вполне конкретную конфигурацию, отношениями ожидания, спонтанно связующими – причем, подчеркиваю еще раз, помимо всякой воли человека и еще до всякой актуально состоявшейся в нем мысли – все наличествующие в данной культуре понятия и соответственно все слова, маркирующие их, в единый и целостный смысловой ансамбль.

Сам факт того, что все слова и все стоящие за ними понятия представлены в нашем сознании (или, может, вернее сказать – в подсознании) не в качестве изолированных данностей, но, напротив, ожидают и предполагают друг друга с большей или меньшей степенью вероятности, засвидетельствован, как говорилось выше, экспериментально<sup>43</sup>. Но если это так, если все слова еще до всякого их сцепления на уровне реально состоявшегося высказывания уже в какой-то степени ожидают и предполагают друг друга, то отсюда прямо вытекает, что семантическое

<sup>41</sup> Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen, 1972. S. 282.

<sup>42</sup> Bastian A. Das logische Rechnen und seine Aufgaben. Berlin, 1903. S. 104 (Reprint: Bibliobazaar, 2009).

<sup>43</sup> См. выше, с. 49–50.

поле каждого из них определяется, в конечном счете, ожиданиями всех (в пределе) остальных. Вполне, замечу, в духе Николая Кузанского – *каждое во всем, и всё в каждом*.

Рассмотренный под этим углом зрения, акт мышления действительно предстает теперь перед нами не как абсолютно самочинное прокладывание отношений между дискретными и изначально изолированными понятиями, а скорее как выведение ограниченной выборки пред-рассудочных ожиданий из их латентного состояния с одновременным вымораживанием всех остальных, остающихся, тем не менее, присутствовать в высказывании, но только в снятом уже виде<sup>44</sup>. Сама же состоявшаяся и выраженная в тексте мысль, если рассматривать ее под тем же углом зрения, оказывается лишь результатом преодоления не поддающейся никакому воображению множественности степеней свободы, которыми обладает бытующая в культуре система ожиданий, или, говоря иначе, лишь частичной реализацией тех вполне конкретных по содержанию возможностей, которые она предоставляет для развертывания мысли<sup>45</sup>.

От одной культуры к другой эта система пред-рассудочных ожиданий, вбирающая в себя всю знаменательную, по крайней мере, лексику соответствующего языка, будет, естественно, отличаться как по составу входящих в нее элементов, так – и это главное – и по иерархической их упорядоченности. Последнее обстоятельство связано прежде всего с тем, что в системе пред-рассудочных ожиданий любой культуры будет всегда наличествовать более или менее выраженное семантическое ядро, одновременно обуславливающее как характер ее наиболее сильных ценностных ориентаций, так и присущие ей познавательные возможности. Образует это ядро ряд опорных, ключевых для культуры слов, в ожидании которых бытуют все остальные, приобретающие благодаря вербальным своим ожиданиям часто неповторимые и больше не воспроизводимые ни одной другой культурной традицией смыслы<sup>46</sup>.

В частности – правда, частности, по сути дела, решающей для непрерывного воспроизводства традиции, – это сказывается и на индивидуальном нашем местоименном *я*. В силу ведущих своих пред-рассудочных ожиданий – и в первую очередь тех из них, которые составляют семантическое ядро потенциального текста культуры, – оно всегда будет означать для каждого из нас нечто гораздо большее, чем универсальное дейктическое *я*, задающее в любой культуре точку отсчета для развертывания речевой активности человека и опирающееся в смысловом отношении на направленный в сторону собственного тела указующий жест. В каждой культуре это личное местоимение первого лица, кажущееся из-за своей универсальности вроде бы совсем безличностным, на деле в субъективном плане будет всегда прямо отсылать не только к телесной самости человека, но, сверх того, и к полновесной личностной определен-

---

<sup>44</sup> Опережая будущий предметный разговор на эту тему в третьей части работы, замечу лишь предварительно, что скрытое присутствие в высказанной мысли всех стоящих за ней и вымороженных в ней пред-рассудочных ожиданий не позволяет с уверенностью рассчитывать на непременно полное ее понимание даже в пределах генетически исходной для нее культурной традиции, поскольку у каждого из ее представителей будут неустранимо наличествовать хотя бы небольшие, но все-таки неизбежные различия в индивидуальной системе пред-рассудочных ожиданий. Естественно, что негативный эффект от постоянного присутствия в оречевленной мысли отсутствующего многократно возрастает, когда дело касается инокультурного текста и тем более такого, который никак, даже самым опосредованным образом, не связан с культурой самого исследователя. В этом случае сколько-нибудь адекватное понимание логики развертывания инокультурного текста становится уже в принципе невозможным без предварительной работы исследователя, нацеленной на выявление всегда имеющихся в тексте, но при этом абсолютно чужеродных для самого исследователя пред-рассудочных лакун.

<sup>45</sup> Хотелось бы здесь обратить внимание на весьма примечательное структурное сходство между актом мышления, представленным у меня почти по О. Родену (ср. его знаменитое: «отсекаю все лишнее»), и актом произвольного движения, который нашими физиологами, начиная с А.А. Ухтомского и Н.А. Бернштейна, также трактуется как преодоление множественности степеней свободы, только присущей уже не пред-рассудочной системе ожиданий, а кинематическим целям человеческого тела.

<sup>46</sup> Так, в древнегреческой культуре, как я пытался продемонстрировать ранее в других работах (см.: Романов В.Н. Исповедь научного работника, или Утешение методологией. С. 120–123; Романов В.Н. Историческое развитие культуры. Проблемы типологии. М., 1991. С. 101–117), роль такого семантического ядра играло слово *ἡβλις* («гражданская община», «государство»), а в высокой поздневедийской традиции, засвидетельствованной текстами брахманической прозы (разговор о ней пойдет в третьей части настоящей работы), – ключевое слово *yajña*, условно переводимое как жертвоприношение, но отстоящее по своему значению от привычного нам жертвоприношения очень и очень далеко.

ности его особы, а еще, пусть и косвенным образом, и к той стоящей за ней прошлой реальности, в которой она свою определенность в конечном счете только и смогла получить у него. Однако отсылать это наше дейктическое *я* может в принципе к двум типологически различным уровням человеческой реальности – в прямой зависимости от состояния потенциально предвещающей его системы пред-рассудочных ожиданий.

Если состояние системы таково, что все входящие в нее знаменательные слова своим значением однозначно сориентированы (как это имеет, по-видимому, место в «незрячей» культуре симпрактического типа) лишь на *эго*-центрично структурированную реальность определенных возможностей и столь же однозначно тем же своим значением неизменно помещают в нее человека, то именно к этой одной-единственной посюсторонней реальности, где он состоялся как *Я* во всех прожитых им до этого хронотопах, будет опосредованным образом отсылать и его местоименное *я*. Если же состояние системы таково, что входящие в нее слова помимо предметного могут также получать еще и отвлеченное от *эго*-центрично структурированной реальности значение (как в случае «зрячей» культуры теоретического типа), то и дейктическое наше *я* может лишиться следом своей однозначной векторной направленности. Ведь потенциально оно будет уже отсылать не только к посюсторонней реальности определенных возможностей, но дополнительно и к той лежащей по ту сторону от нее и конкурирующей с ней в борьбе за индивида реальности второго порядка, где он мог состояться как особое, и именно умозрящее, *мета-Я* в то самое время, когда, оперируя отвлеченными от посюстороннего *Я* понятиями, абстрагировался от своего деятельностного присутствия в мире, заняв позицию умопостигающего мир отстраненного созерцателя.

И в том и другом случае наше дейктическое *я*, конкретно определяясь в своей системе пред-рассудочных ожиданий, будет на первом же шаге – и причем самым естественным, а потому и совершенно неуловимым для человека образом – спонтанно отсылать к содержательной определенности его собственной особы. И в том и другом случае каждое индивидуальное *я* будет фактически вбирать в себя всю потенциально предвещающую его систему пред-рассудочных ожиданий, представляющую собой частный вариант потенциального текста той культуры, к которой человек принадлежит. И в том и другом случае совокупное множество всех индивидуальных *Я*, конкретно определившихся в пределах одного потенциального текста культуры, в свернутом виде будет уже заключать в себе все ее основные мыслительные и познавательные интенции, только ждущие своего часа, чтобы быть реализованными в ней.

С этой точки зрения позволительно, пусть с известной (но, как мне верится, не слишком уж большой) долей преувеличения сказать и так, перефразируя крылатое выражение В. Э. Мейерхольда, что все состоявшиеся и изреченные в культуре «фигуры мысли» – *это лишь узоры на канве ее потенциального текста*. Именно по этой канве, как по тканной основе, каждая конкретная культура, воплощаясь во множестве своих носителей, будет спонтанно выводить свои фигурчатые и большей частью неповторимые «узоры». Однако какие именно «узоры» будет выводить та или иная культура, какого рода тексты будут в ней порождаться и каким именно образом будет обеспечиваться их трансляция от поколения к поколению, напрямую уже зависит, во-первых, от того, к какому типу она принадлежит, симпрактическому или теоретическому, и, во-вторых, – что имеет особое значение для теоретических культур, движущихся, в отличие от культур симпрактических, в русле постоянно развивающегося самоописания и соответственно самопонимания, – от тех опорных, ключевых слов, которые составляют семантическое ядро ее потенциального текста. И то и другое как раз и составит основной предмет обсуждения в двух следующих далее частях работы.

## Часть II

# Культура симпрактического типа (к реконструкции первобытной культуры)

### Введение

#### О деятельностном подходе к культуре

Сведя воедино все говоренные ранее частные видовые признаки симпрактической культуры, можно построить хотя и негативное, но все-таки полезное для начальной ориентации ее краткое определение: это культура, в потенциальном тексте которой отсутствуют отвлеченные от *эго*-центрично структурированной человеческой реальности понятия. Разумеется, сама симпрактическая культура вовсе не испытывает в такого рода понятиях какой-либо нехватки, так что данное ей здесь отрицательное определение позволяет лишь уверенно отличать ее от культур теоретического типа. Вместе с тем оно оставляет открытым важнейший вопрос о том, что представляет собой симпрактическая культура, рассмотренная уже не в плане сравнения с теоретической, а взятая сама по себе, т. е. в тот самый момент, когда она, нисколько не смущаясь полным отсутствием в ее распоряжении отвлеченных понятий, необходимых для внеконтекстного нормативного описания поведения, успешно обходится одними имеющимися у нее положительными данностями. Отсюда, собственно говоря, и вытекает та задача, к решению которой мы будем далее стремиться во второй части работы. В самом общем виде она сводится к тому, чтобы выявить эти положительные данности, обеспечивающие устойчивое воспроизводство симпрактической культуры при полном отсутствии в ней объективированных в текстах поведенческих норм. И помочь нам в этом должен деятельностный подход, активно разрабатывавшийся с начала 30-х гг. прошлого столетия советскими психологами культурно-исторической школы нашего выдающегося соотечественника Л. С. Выготского.

Если попытаться охарактеризовать в самом общем виде суть этого подхода, то можно, по-видимому, сказать, что в его основе лежит фундаментальный в методологическом отношении тезис о наличии определенных каузально-динамических связей между культурой и мышлением, с одной стороны, и исторически сложившимися типами социальной деятельности – с другой; причем деятельность, что крайне для нас важно, рассматривается здесь в качестве ведущего системообразующего фактора, по отношению к которому и культура, и мышление выступают вторичными, ведомыми элементами системы.

В свете этого тезиса, именуемого обычно *принципом деятельности*, стоящая перед нами задача, сформулированная пока у нас весьма и весьма расплывчато, получает более-менее конкретные предметные очертания. В соответствии с этим принципом нам следует сместить теперь центр тяжести нашего исследования в сторону анализа деятельности, бытующей в традиционном, этнографическом обществе. Так вот, в трех следующих далее главах, мы как раз и рассмотрим последовательно три ее частных (и только, подчеркну, аналитически выделяемых) подвиды: техническую, обрядовую и текстовую деятельность, – стараясь при этом показать, что:

– во-первых, каждой из них, несмотря на очевидные и сразу вроде бы бросающиеся в глаза внешние различия, присуще общее свойство автотранслируемости, заключающееся в полной слитности их прагматико-исполнительского и информационного аспектов, или, говоря проще, в том, что каждая из них является по отношению к самой же себе важнейшим информационным каналом, обеспечивающим ей устойчивую трансляцию от поколения к поколению;

– во-вторых, что речь в условиях подобной автотранслируемости может иметь лишь контекстуальный характер: она не выйдет за рамки симпрактичности, превратившись (как это случается в теоретической культуре) в обособленную и по месту и по времени от практики систему кодов.

Вытекающие отсюда последствия для традиционного мышления и самосознания будут рассмотрены в четвертой главе. Используя материалы проведенных в бесписьменных, традиционных обществах этнопсихологических экспериментов, с одной стороны, и так называемых туземных автобиографий – с другой, мы попытаемся подтвердить правомерность предложенного выше отрицательного определения симпрактической культуры, продемонстрировав, что понятия, которыми оперирует традиционное мышление, действительно сориентированы лишь на *эго*-центрично структурированную реальность окружающего человека мира, в силу чего самосознание индивида может разворачиваться в этих условиях лишь по линии соотношения своего поюстороннего *Я* с конкретными фактами житейской биографии (с родовой своей принадлежностью, с местом своего обитания и местом в социальной иерархии, с наличием семьи и имущества, с приобретенными навыками и умениями и т. п.), таким образом не перерастая в аналитическое и уже чисто внутреннее ауторефлексивное самопонимание.

В *Заключении*, отталкиваясь от того же *принципа деятельности*, мы постараемся сформулировать некоторые основания (чисто логического, разумеется, свойства), по которым первобытную культуру имеет смысл с большой долей вероятности отнести к тому же разряду симпрактических культур, что и традиционную. А уже это, в свою очередь, прямо подведет нас к рассмотрению в третьей части работы тех решающих для филогенетического развития человечества исторических событий, которые положили начало формированию в эпоху древности принципиально нового, и именно теоретического, типа культуры.

Чтобы не вводить читателя в заблуждение относительно характера дальнейшего исследования, стоит, наверное, заранее оговориться, что полученные в ходе его проведения результаты в силу понятной ограниченности источниковедческой базы не могут претендовать на большее, чем самую предварительную, «рабочую» гипотезу. Некоторым оправданием автору может в данном случае служить то обстоятельство, что хотя деятельностный подход как общефилософский принцип имеет уже достаточно продолжительную историю<sup>47</sup>, однако до сих пор современные гуманитарные науки практически не разработали средств и методов анализа, которые соответствовали бы природе и строению конкретных видов социальной деятельности. По этой причине я часто буду вынужден в ущерб широте привлекаемого далее материала идти путем демонстрации объяснительной силы *принципа деятельности*, опираясь на весьма ограниченный круг источников. И все же, сознавая недостаточную убедительность подобного приема, сознавая все проистекающие отсюда и в какой-то мере неизбежные на данный период времени недостатки, я, тем не менее, надеюсь, что предлагаемое ниже исследование традиционной культуры не станет все-таки, перефразируя выражение К. Леви-Строса, *ответом без вопроса*.

---

<sup>47</sup> Одна из самых резких (но отнюдь не первая по времени, см.: *Гайденко П.П.* Философия Фихте и современность. М., 1979. С. 5–6, 15) формулировок *принципа деятельности* принадлежит К. Марксу – это первый тезис из набросков, в которых сформулировано его отношение к работам Л. Фейербаха (*Маркс К.* Тезисы о Фейербахе // *Маркс К. и Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 3. С. 1).

## Глава 1

### Техническая деятельность в традиционном обществе

Подходить к технической деятельности в традиционном обществе можно, конечно, с разных позиций. Нас же, в связи со стоящей перед нами задачей, она интересует прежде всего с точки зрения сопровождающих ее информативных процессов. Ради этого сделаем предвзятительно небольшое отступление в родную нам современную действительность, расставшись ненадолго с экзотическими этнографическими обществами. Вот представьте себе на минуту, что в вас разыграло неодолимое желание научиться плести корзины. Наша отечественная социокультурная реальность, далекая (на наше счастье и на беду одновременно) от типологической определенности, открывает перед нами две принципиально разные возможности.

Можно, положим, пойти в книжный магазин и купить руководство по плетению корзин (а такие руководства на самом деле есть или, по крайней мере, до недавнего времени были), где последовательно и к тому же в сопровождении вспомогательных рисунков-схем будет выписан весь алгоритм необходимых для этого ручных операций. И вот вы, прочитав книгу, приступаете к делу. Постоянное наличие в вашем распоряжении объективированного в ней алгоритма деятельности позволяет вам по мере надобности, в случае какого-либо затруднения, произвольно выходить за пределы конкретного предметно-событийного ситуационного поля и, вставая как бы на позицию идеального умельца, чей опыт предьявлен в книжном руководстве, и глядя на себя со стороны его глазами, абстрагироваться на время от вашего неумелого посястороннего Я, чтобы затем каждый раз вновь возвращаться к себе, сверяя последовательно свои операции с отображенным в тексте образцом.

Можно, конечно, поступить и так, воспроизведя таким образом типичный по своей сути производственный опыт «зрячей», теоретической культуры<sup>48</sup>. А еще можно просто сесть в пригородную электричку, отъехать чуть подальше от Москвы, найти в деревне деда, плетущего корзины, и пойти к нему на время в ученики. Скорее всего, он сначала изготовит при вас корзину, показав, как это делается, а потом даст в руки предварительно вымоченные и очищенные ивовые прутья и предложит попробовать самому, сопровождая ваши неумелые манипуляции словесными комментариями типа: «Т-а-а-к. А теперь сюды, а потом туды. Да куды ж ты, Николаич, ..., суешь!» и т. д. Не знаю, как придется вам, а для меня второй способ обучения, под руководством деда, оказался несравненно более легким и гораздо более успешным. После недельных занятий худо-бедно, но я все-таки овладел до какой-то степени своими корявыми пальцами, научившись плести хотя совсем и неказистые по виду, но все-таки узнаваемые

---

<sup>48</sup> В связи со «зрячестью» современной теоретической культуры в отношении техники и всего производства в целом позволю себе сделать здесь небольшое отступление в историю. В Западной Европе (и, судя по всему, только в ней) произошло уникальное событие мирового значения, связанное с радикальной и последовательной перестройкой технической деятельности на теоретический (в моем понимании) лад. Европейская культура не только смогла в конце концов «прозреть» в отношении техники, которая долго расценивалась ею как негодный обман природы (и даже посредством этимологии сближалась, как у Гуго Сен-Викторского, по шкале оценок с обманом и прелободением), но и, приступив приблизительно с Нового времени к ее последовательному нормативному описанию, разработать к концу XVIII в. необходимый для этого инженерный язык, использующий универсальную номенклатуру, некоторые разделы математики, начертательную геометрию и т. д. Это позволило во второй половине XIX в. сначала в Германии, а затем и в других развитых капиталистических странах окончательно развести процесс изготовления артефактов и его планирования за счет создания при заводах сначала конструкторских, а чуть позднее и технологических бюро, целиком взявших на себя функцию технического руководства производством. С этого времени чертеж и технологическая карта стали на заводе основными документами, что, в свою очередь, повлекло за собой необходимость в предварительном, и причем уже внеконтекстном, обучении рабочих-исполнителей, от которых требовалось теперь помимо ручного умения и еще умение читать эти производственные документы (о становлении инженерной конструкторской деятельности см.: Уварова Л.И. К вопросу о конструировании машин в XVIII в. // История машиностроения. Труды Института истории естествознания и техники. Т. 45. М., 1962. С. 19–27; она же. Научный прогресс и разработка технических средств. М., 1973. С. 124–128; и особенно: Грейм И.А., Кеосаар Ю.Ю. Историческое развитие конструирования // Вопросы естествознания и техники. М., 1986, № 2. С. 38–43).

без особого труда корзины. А вот теперь давайте повнимательнее приглядимся к тому, что при этом происходило – какие, собственно, информативные процессы имели в данном случае место.

Во-первых, можно констатировать, что во время совместного изготовления корзины действительно произошла передача определенного навыка работать руками. Но то, что мы привычно называем навыком, отражает лишь внешнюю сторону случившегося при этом события – вот, положим, сначала *Николаич* не умел, а теперь, так сказать, заумел. По психологической же своей сути обретение ручного навыка, т. е. переход от неумения к умению, означало в данном случае прямое наведение у *Николаича*, целиком и полностью погруженного в практическую деятельность, ряда конкретных и, разумеется, невербальных (и, можно даже сказать, принципиально невербализуемых) субъективных регуляторов, делавших мои руки умелыми без всякой задумчивости с моей стороны и без всякого отвлечения на что-либо еще, лежащее за пределами конкретного предметно-действенного контекста.

Во-вторых, все эти события, связанные с передачей необходимой для плетения корзины информации, были непосредственно вплетены в самую что ни на есть практическую деятельность, непосредственно в сам трудовой процесс, причем на выходе – и это следует особо подчеркнуть – имелся разом и готовый к употреблению продукт, и *Николаич*, готовый к повторному его продуцированию. Готовность же *Николаича* к самостоятельному продуцированию корзины являлась в данном случае прямым следствием освоения им потребных для их изготовления моторно-топологических схем предметных действий<sup>49</sup>. В процессе симпрактического обучения именно эти постепенно усваиваемые схемы действий опредмечивались в продуцируемом *Николаичем* артефакте, а сам продуцируемый артефакт, наоборот, постепенно распредмечивался в нем, находя в его чувственной ткани свое соответствие в виде предметного, или, по-другому, ручного, понятия<sup>50</sup>.

И, наконец, последнее. Обучение *Николаича* состоялось, минуя стадию сколько-нибудь последовательной речевой артикуляции всего трудового процесса. Эмфатическая речь моего знакомого деда, имевшая выраженный контекстуальный характер, лишь уточняла мои же собственные неумелые действия и корректировала их, отсекая неправильные посредством неодобрительных (и это мягко сказать) восклицаний. Будучи записана на магнитофон, она, не содержа в себе никакого подобия алгоритма, даже отдаленно не напомнила бы нам книжного руководства по плетению корзины с его четко прописанной последовательностью всех операций. Я даже сомневаюсь, что слушатель вообще понял бы, чем мы с дедом, собственно говоря, занимались.

Конечно, пример с *Николаичем*, работавшим исключительно одними руками, в техническом отношении один из самых простых. Замечу, однако, что положение дел с трансляцией производственных навыков и соответственно стоящих за ними предметных понятий принципиально не меняется, когда в руки дополнительно дается еще рабочий инструмент, опосредующий связь агенса с предметом труда. Отличие в данном случае состоит только в том, что здесь от обучающего к обучаемому вместе с навыками в первую очередь транслируются и те

---

<sup>49</sup> О моторно-топологических схемах предметных действий, являющихся результатом абстрагирующего преобразования пространства и времени на уровне самого совершаемого действия, см. подр.: *Бернштейн Н.А.* О построении движений. М., 1947. С. 120–126.

<sup>50</sup> Выражение «ручные понятия» было введено в научный оборот замечательным американским этнологом Ф. Кашингом в самом конце XIX в. Его имя получило среди этнологов широкую известность благодаря успешно поставленному им опыту погружения в традиционную культуру одного из индейских племен. Для нас особый интерес представляет в данном случае то обстоятельство, что свое погружение в жизнь племени зуньи (а в конце концов он даже достиг в нем статуса племенного вождя) Кашинг начал с освоения всех тех ручных операций и соответственно всех тех ручных понятий, которыми владел каждый из мужских представителей этого племени. По его же собственным словам, он «вернул свои руки к их первобытным функциям, заставляя их проделывать все то, что они делали в доисторические времена, с теми же материалами и в тех же условиях, которые характеризовали эпоху, когда руки были так связаны с интеллектом, что они действительно составляли его часть» (*Cushing F.* Manual Concepts // *American Anthropologist*. 1892. V. 5. Цит. по: *Иванов Вяч. Вс.* Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978. С. 62).

потребные для изготовления артефакта схемы предметных действий, которые уже до этого, как бы загодя, опредметились в самом непосредственно орудии труда. И чтобы обучающийся с успехом усвоил эти опредмеченные в инструменте схемы действий, или, говоря иначе, чтобы они окончательно распредметились в его биодинамической чувственной ткани, образовав на уровне внутренней моторики предметное понятие, орудие труда должно быть пережито им как свое прямое телесное продолжение рук, от которого исходят потенциально сосредоточенные уже в самом инструменте двигательные импульсы<sup>51</sup>. В идеальном случае орудие труда должно непосредственно встроиться в схему тела агенса, по отношению к которой во время работы будут локализоваться сигналы как кожной, так и кинестетической чувствительности, способной непрерывно и безошибочно информировать его о постоянно меняющейся силе сопротивления обрабатываемого материала<sup>52</sup>.

Такой способ трансляции деятельности, когда для ее воспроизводства не требуется никаких надстраиваемых над ней дополнительных и обособленных от нее информационных каналов, мы и будем называть в дальнейшем симпрактическим. В отличие от теоретического, который по всем пунктам предполагает прямо противоположное, этот способ не создает никаких предпосылок для того, чтобы агент мог произвольно выходить за пределы конкретного предметно-событийного ситуационного поля и, «прозревая» как бы со стороны свою же собственную деятельность, давать ей внеконтекстное нормативное описание.

Между тем в антропологической литературе совершенно игнорируется сама принципиальная возможность симпрактического способа трансляции технической деятельности с информационным обеспечением, типологически отличным от теоретического. Показательна в этом вопросе позиция известного отечественного антрополога В. П. Алексеева. «Трудовой процесс, – пишет он, – процесс информативный в самом широком смысле этого слова, ибо он не только постоянно порождает новую информацию, но и сам невозможен без нее и очень зависит от каналов ее передачи и циркуляции. Основным средством передачи информации как от индивидууму к индивидууму, так и от поколения к поколению стала у человека звуковая речь». И далее подчеркивается, что ее роль в первобытном обществе «была не меньшей, а, может быть, даже большей, чем в современную эпоху, так как информативная роль других средств передачи информации, распространенных в современном обществе, сводилась к нулю»<sup>53</sup>.

Второй пример взят из работы известного этнолога Э. Лича, следующего во многом К. Леви-Стросу. Пытаясь эксплицировать исходные теоретические послышки последнего, Э. Лич выделяет три, казалось бы, самоочевидных аспекта человеческого поведения: 1) естественная биологическая активность, 2) технические акты и, наконец, 3) экспрессивные акты. И далее единственно с этими последними он и связывает возможность коммуникации в обществе<sup>54</sup>. Подчеркну, два приведенных выше мнения о соотношении технической деятельности и

<sup>51</sup> Ср. здесь: превосходное и удивительно точное (даже и с научной точки зрения) описание косьбы у Л.Н. Толстого в «Анне Карениной», которое мог дать (и, замечу в скобках, может в полной мере понять) только тот, кто сам пережил все сопровождающие косьбу неповторимые ощущения: «Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забывтья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа, правильная и отчетливая, делалась сама собой» (*Толстой Л.Н. Анна Каренина // Собрание сочинений: В 22 томах. Т. 8. М., 1981. С. 279–280*)

<sup>52</sup> О концепте «схема тела человека» см. примеч. 17. Ср. здесь: данное Я.А. Ляткером образное, но вполне согласующееся с данным концептом описание искусства средневекового ремесленника-рукодельника: «Рука ремесленника слита с инструментом и через него с природой материала. Но полностью природа эта выявляет себя при полной слитости тогда, когда кончики пальцев “искусника” обретают чувствительность открытого нерва. Волокна человеческих нервов продолжают в волокнах инструмента, и инструмент “чувствует” фактуру материала [...]. Методом был секрет, суть которого – в отточности техники и развитой “мускулатуре” ума “искусника”...» (*Ляткер Я.А. Декарт. М., 1975. С. 30*).

<sup>53</sup> Алексеев В.П. Возникновение человека и общества. // Первобытное общество. М., 1975. С. 29.

<sup>54</sup> См.: Leach E. Culture and Communication. Cambridge, 1976. P. 9.

коммуникативной являются примерами (хотя, быть может, и наиболее показательными) общераспространенного в антропологической литературе подхода к данной проблеме<sup>55</sup>.

Как можно легко заметить, в обоих случаях мы сталкиваемся с полным игнорированием того решающего для нас обстоятельства, что техническая деятельность («технические акты», по Личу) уже сама по себе является в традиционных обществах одним из важнейших информационных каналов культуры. И чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на ту роль, которую она играет в обучении подрастающего поколения. Буквально все этнологи и этнопсихологи, специально занимавшиеся этим вопросом, сходятся в одном: основной формой обучения в традиционном обществе является непосредственное участие детей в производительном труде взрослых; при этом техника обучения носит в основном невербальный характер, опираясь главным образом на показ в контексте самого трудового процесса<sup>56</sup>.

Так что же транслируется в ходе такого вербально не артикулированного обучения, непосредственно вплетенного в саму техническую деятельность? Ответ, на мой взгляд, очевиден – сама деятельность в первую очередь и транслируется, как в разобранный выше примере с *Николаичем*. Но это также означает, что вместе с ней от поколения к поколению будут одновременно транслироваться и все необходимые для ее воспроизводства навыки, а следовательно, и все стоящие за ними моторно-топологические схемы предметных действий, которые, естественно, просто не могут транслироваться иначе – минуя саму деятельность. Но если внутри технической деятельности ее прагматико-исполнительский аспект и информационный слиты воедино, если трудовой процесс является одновременно информационным не по каким-либо внеположенным ему характеристикам, а по самой своей сути, будучи основным каналом трансляции моторно-топологических схем действий, то речь в ходе самой предметной деятельности никогда не сможет оформиться здесь в самостоятельную и обособленную от практики систему кодов. Она не выйдет за рамки симпрактичности, а ее роль будет в основном ограничиваться уточнением конкретного деятельного контекста и, в частности, вербальной категоризацией тех качественных характеристик пространства и времени (*над, под, внутри, между, прежде, сейчас, потом* и т. п.), которые непосредственно складываются на уровне предметных операций<sup>57</sup>.

Отсюда уже можно предположить, что в традиционном обществе речь не в полной мере выполняет потенциально присущую ей функцию контроля над предметной деятельностью и что, в частности, словесно объективированный алгоритм вовсе не является в данном случае ее необходимым элементом или предпосылкой<sup>58</sup>. В пользу этого предположения прежде всего

<sup>55</sup> Насколько мне известно, лишь у одного исследователя аналогичная точка зрения вызвала решительные возражения: «Антропологи часто делают совершенно необязательное и наивное допущение, что, поскольку символический аспект и технический аспект действий могут быть разделены в анализе, их корреляты в форме акта также должны быть отдельными. Они, по всей видимости, полагают, что технические требования налагают определенные ограничения на форму акта, поэтому его символическое значение должно лежать где-то еще, в тех формальных чертах, которые технически излишни и необязательны» (*Barth F. Nomads of South Persia. Oslo, 1961. P. 147*). Надо сказать, что эвристическая ценность этой мысли Ф. Барта не была вполне осознана этнологами (ср. *Douglas M. Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Harmondsworth, 1978. P. 38*).

<sup>56</sup> См., например: *Alt R. Vorlesungen über die Erziehung auf frühen Stufen der Menschheitsentwicklung. B., 1956*; *Miller N. The Child in Primitive Society. L., 1928*; *Mead M. Growing up in New Guinea. Harmondsworth, 1942*; *Kidd D. Savage Childhood. A Study of Kafir Children. N. Y., 1969*; *Hambly W. Origins of Education among Primitive Peoples. N. Y., 1969*; и особенно: *Fortes M. Social and Psychological Aspects of Education in Taland. L., 1938 (Suppl. to «Africa». Vol. 2, № 4)*. Ср. также: *Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1978*; *Брунер Дж. Психология познания. М., 1977*; *Коул М, Скрибниер С. Культура и мышление. М., 1977*.

<sup>57</sup> См.: *Бернштейн Н.А. О построении движений. С 122*; ср.: *Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1979. С. 32–33*; *Левада Ю.А. Социальная природа религии. М., 1965. С. 110–111*.

<sup>58</sup> Мне и в страшном сне не могло привидеться, что эти мои рассуждения о симпрактическом характере речи могут быть истолкованы так, будто я настаиваю на буквально немолчаливом состоянии традиционного социума. В действительности же я говорю только то, что говорю: речь в традиционном обществе имеет контекстуальный характер, и все. Если аналогичным образом будет истолковано и мое высказывание о принципиальной «незрячести» (заметьте, в кавычках) традиционной культуры, прямо вытекающей из симпрактического характера последней, то я еще больше укреплюсь во мнении, что культура теоретического типа лишь открывает перед ее носителями возможность адекватно воспринимать абстрактную мысль, но никак не гарантирует им этого. Тем не менее, в очередной раз идя на риск, приведу в связи с моей трактовкой «незрячести» одно

говорят данные этнопсихологических экспериментов, свидетельствующих о наличии в традиционных обществах значительного разрыва между способностью к адекватному действию и способностью к его речевой артикуляции. Рассмотрим в качестве примера один из экспериментов на понимание «принципа сохранения вещества».

Эксперимент, проведенный М. Гринфилд в Сенегале среди народности волоф<sup>59</sup>, состоял в подравнивании количества воды в двух одинаковых стаканах, в переливании после этого содержимого одного стакана в третий, иного размера, и в опросе испытуемых, осталось ли количество воды в двух стаканах одинаковым, или нет. Главный для нас результат эксперимента состоял в том, что все неграмотные взрослые давали неверные ответы. Однако можно ли на основании этого вслед за М. Гринфилд утверждать, что мы в данном случае сталкиваемся с фактом принципиального непонимания «принципа сохранения вещества»? Можно ли представить себе взрослого человека, живущего к тому же в пустыне, который переливает воду из большого ведра в маленькое и считает, что количество воды при этом увеличивается? Разумеется, нет. Решение проблемы лежит, по всей видимости, в том, что в действии понимание этого принципа достигается помимо словесно сформулированных суждений и что отрицательные (словесные) результаты опыта свидетельствуют лишь о наличии подобного разрыва. Замечу, что и сами психологи в ходе методологического анализа своей полевой работы приходят к аналогичному по своей сути выводу о необходимости различения способов оперирования предметами и способов описания испытуемыми своих предметных действий<sup>60</sup>. И вывод этот становится, надо сказать, вполне обоснованным и теоретически значимым, если признать, что в традиционном обществе контролирующая функция речи не является имманентной составной частью самого трудового процесса.

Оценивая результаты этнопсихологических экспериментов, важнейший итог которых состоял в установлении значительного разрыва между предметной деятельностью и речевой, можно, конечно, возразить, что это лишь косвенное свидетельство. И подобное возражение будет вполне справедливым, поскольку решающим аргументом в пользу нашего предположения может стать лишь материал непосредственных этнографических наблюдений в неформальных условиях. Однако приходится с сожалением констатировать, что таких конкретных исследований технической деятельности крайне мало. И все же то, что мне удалось разыскать в этнологической литературе, подтверждает, как кажется, выдвинутое предположение.

По наблюдениям Дж. Гэя<sup>61</sup>, сделанным среди народности кпелле в Либерии, деревенские умельцы, которые легко могли сплести корзину, испытывали явные трудности, когда их прямо просили описать весь процесс труда<sup>62</sup>. Важно при этом подчеркнуть, что очевидный

---

вроде бы удивительно зримое описание весны деревенского первоклассника, в котором, однако, еще очень трудно заподозрить типологического теоретика. Вот его домашняя работа – цитирую по памяти целиком: «Весна. Навоз парит. А сверху кобель лежит, греется». Если бы это сотворил писатель, я бы сказал – гениальное по своей краткости и синестезической образности описание ранней весны: тут тебе и зрительная картинка дана, да еще в зыбком движении, тут и запах присутствует, и характерное ощущение мартовской знойкости, когда солнце с одного бока греет, а с другого нет, и т. д. Но в том-то и дело, что все это не «зрячий» писатель сочинил, который, отстраняясь от действительности, самочинно выстраивает ее художественный образ, а деревенский мальчишка. И не сочинил он вовсе, а, получив от учителя задание написать сочинение на тему «Весна», увидел и описал то, что у него непосредственно перед глазами. Вот приходит он из школы домой, садится в избе к окну, а за окном и впрямь весна, и навоз (конечно, конский) на дороге парит, а сверху действительно кобель лежит, греется себе в удовольствие на тепленьком. Здесь мы сталкиваемся с тем, что Г.И. Успенский, анализируя сочинения не только грамотных деревенских школьников 9—14 лет, назвал еще в позапрошлом веке «покорностью факту», имея в виду ситуативный характер даже их письменной речи (см.: *Успенский Г.И.* Из деревенского дневника // *Собрание сочинений*: В 9 тт. Т. 4. М., 1956. С. 410–414).

<sup>59</sup> Гринфилд П. О культуре общества и о понимании принципа сохранения количества вещества // *Исследование развития познавательной деятельности*. М., 1971. С. 272—306

<sup>60</sup> См.: Коул М, Скрибнер С. Культура и мышление. С. 150; Брунер Дж. Заключение // *Исследование развития познавательной деятельности* / Под ред. Дж. Брунера и др. М., 1971. С. 381.

<sup>61</sup> Ссылку на них см. в работе: Коул М, Скрибнер С. Культура и мышление. С. 230–231.

<sup>62</sup> Относительно моего знакомого деда, учившего меня плести корзины, сказать сейчас то же самое с абсолютной уверенностью не берусь, однако почти не сомневаюсь, что и для него трудности были бы ничуть не меньшие.

разрыв между предметной деятельностью и речевой не являлся в данном случае следствием постепенной редукции изначально данного вербального плана к системе предметных операций, поскольку и обучение этому ремеслу имело, естественно, невербальный характер. Об отсутствии вербальных планов деятельности говорит также Ф. Барт в своем замечательном (как в отношении информативности, так и в отношении применявшейся им методики) исследовании повседневной жизни бактаманов Новой Гвинеи. Согласно его сообщению, даже такие сложные, требующие значительной координации усилий многих людей операции, как охотничья экспедиция, собирание материала для постройки дома и т. п., также не предполагают предварительной сходки, на которой заранее вырабатывался бы некий план будущих совместных действий<sup>63</sup>. Сходным образом следует, по всей видимости, интерпретировать и описание коллективной ловли рыбы на Тробрианских островах, данное Б. Малиновским<sup>64</sup>.

Если дальше подниматься по ступеням сложности технической деятельности в традиционном обществе, то ближе к ее вершине мы можем столкнуться (хотя и не так уж часто) с трудовыми процессами, предполагающими уже предварительное «школьное» обучение. Это обстоятельство ставит вроде бы под сомнение правомерность моей гипотезы о недостаточном развитии контролирующей функции речи, что, как и в других упомянутых выше случаях, должно выражаться в отсутствии объективированного тем или иным способом плана будущей деятельности. Однако, если судить по результатам исследований Т. Глэдвина аборигенной техники мореплавания в открытом море, сомнение в данном случае не представляется обоснованным.

Согласно Т. Глэдвину, навигационные знания, бытующие среди аборигенов Микронезии, передаются как непосредственно в ходе плавания, так и в отрыве от деятельностного контекста – в так называемой «школе»<sup>65</sup>. В последнем случае обучение преимущественно касается одного из важнейших элементов плавания – ориентации по звездам, что позволяет аборигенным мореплавателям совершать многодневные переходы, с большой степенью точности выходя на цель. Естественно возникает вопрос: меняется ли типологическая характеристика данного вида деятельности вследствие того, что абориген заранее (в «школе») усваивает основные навигационные направления?

В своей более ранней статье «Культура и логический процесс» Т. Глэдвин дает на это отрицательный по сути дела ответ. Отсутствие объективированного в какой-либо системе кодов плана, обуславливающее значительные трудности, которые испытывает абориген при попытке описать свою мореходную деятельность, рассматривается им как основное, что принципиально отличает европейскую технику мореплавания от аборигенной<sup>66</sup>. В более поздней монографии он смягчает несколько свою точку зрения, рассматривая усвоенные в местной «школе» навигационные направления в качестве своеобразного эквивалента европейского плана<sup>67</sup>. Подобные колебания в оценке «школьных» знаний заставляют нас самим обратиться к приводимым Т. Глэдвином данным, позволяющим достаточно надежно реконструировать основные этапы морского путешествия аборигенного навигатора.

Выбор курса, согласно Т. Глэдвину, осуществляется, как правило, днем, когда солнце находится в зените. Таким образом, в этот ответственный момент «школьные» знания по звездной ориентации не работают. Важно также отметить, что первоначальное наведение на цель не является операцией, оторванной от самого плавания. Чтобы лечь на нужный курс, мореход должен отплыть от своего острова, и именно вид последнего дает всю необходимую информа-

---

<sup>63</sup> *Barth F.* Ritual and Knowledge among the Baktaman of New Guinea. Oslo-New Haven, 1975. P. 135.

<sup>64</sup> *Malinowski B.* Magic, Science and Religion and Other Essays. Boston, 1948. P. 245.

<sup>65</sup> *Gladwin T.* East is a Big Bird. Navigation and Logic on Puluwat Atoll. Cambridge (Mass.), 1970. P. 128 и сл.

<sup>66</sup> *Gladwin T.* Culture and Logical Process // Explorations in Cultural Anthropology. Essays in honor of G.P. Murdock. N. Y., 1964.

<sup>67</sup> *Gladwin T.* East is a Big Bird. Navigation and Logic on Puluwat Atoll. P. 232.

цию для первоначального наведения каноэ на цель. Приучаясь к своему делу с детства, мореход просто помнит, как должен выглядеть остров из его каноэ, когда он отправляется в плавание к каждому из тех многочисленных островов, к которым он может совершать многодневные морские переходы. По сообщению Т. Глэдвина, существуют и более точные способы первоначального наведения на цель, но все они ничем принципиальным не отличаются от вышеизложенного.

После того как курс выбран, задача сводится к его поддержанию и корректировке. В дневное время всю необходимую для этого информацию предоставляют характер ветра, волн, облаков, направление течений, цвет воды, появление определенных видов птиц и т. п., т. е. все то, о чем мореход узнает в ходе неформального обучения, когда он, будучи еще ребенком, сопровождал в плавании своего отца. И лишь ночью включаются в работу «школьные» знания по звездной ориентации. Правда, именно в этот момент открывается возможность для наиболее точного наведения каноэ на цель. Но и здесь, так же как и в случае первоначального выбора курса, аборигенный навигатор руководствуется не эксплицитно сформулированными правилами, позволяющими ему с использованием технических средств определить свое местонахождение, а опять-таки все той же памятью. Роль предварительного «школьного» обучения сводится к тому, чтобы он с детства просто запомнил, каким должно быть соотношение его каноэ и звезд, фиксируемое с помощью раскладываемых на песке камушков, для каждого из всех возможных маршрутов. Но в таком случае едва ли правомерно сближать европейскую технику мореплавания с аборигенной на том единственно формальном основании, что обе они действительно предполагают предварительное обучение. Да и сам Т. Глэдвин признает, в сущности, это вопреки своему конечному выводу<sup>68</sup>.

Тем не менее, мы все-таки вправе говорить здесь о наличии своеобразного плана. Только представлен он (как и во всех предыдущих случаях) не на вербальном уровне, а на уровне сформировавшейся у аборигенного «навигатора» общей системы предметных операций, по отношению к которой каждое его конкретное плавание является ее практической реализацией. Такой действенный, симпрактический план, непосредственно вплетенный в самую конкретную деятельность, не может быть, естественно, актуализирован вне ее пределов. И это позволяет объяснить один приведенный Т. Глэдвином весьма любопытный факт, оставленный им, однако, без всяких объяснений.

Речь идет о распространенном среди аборигенных мореплавателей представлении о плавающих островах. Считается, что если мореплаватель держит в открытом море верный курс, то движется не каноэ, а сам остров навстречу ему (движение каноэ допускается только в случае его отклонения от курса). Как подчеркивает Т. Глэдвин, аборигенные мореплаватели принимают сразу же, без всяких рассуждений, все познавательные предпосылки для подобного рода утверждений, несмотря на их явную нелепость с точки зрения европейца, который исходит из того, что плавание есть процесс, в котором фиксировано все, за исключением самого каноэ вместе с находящимся в нем мореплавателем<sup>69</sup>. Но почему же аборигенный мореплаватель не видит ничего нелепого в своих представлениях о плавающих островах? Все, по-видимому, объясняется тем, что организация деятельности аборигенного мореплавателя, предполагающая наличие одного лишь симпрактического плана, прямо препятствует ему в том, чтобы он смог отвлечься от эго-центрично структурированной реальности окружающего мира, абстрагироваться от непосредственного действенного контекста и соответственно взглянуть на себя со стороны как бы сторонними глазами. Но именно это обстоятельство и способствует возникновению столь нелепых (с точки зрения представителя теоретической культуры) представлений.

---

<sup>68</sup> Там же. Р. 56.

<sup>69</sup> Там же. Р. 181.

В связи с этим необходимо учитывать, что в открытом море отсутствуют постоянные точки отсчета, которые ясно указывали бы на движение каноэ. Более того, вся техника ночного мореплавания, обеспечивающая наиболее точное наведение на цель, покоится именно на том, что перцептивно воспринимаемое пространственное соотношение мореплавателя и звезд должно оставаться неизменным. Следовательно, когда он находится в открытом море, его непосредственное чувственное восприятие не только не наталкивает его на мысль, что движется именно каноэ, но скорее убеждает в обратном – в его неподвижности. Отсюда остается проделывать один только шаг до представлений о движущихся островах. И этот шаг наш мореплаватель проделывает тем более легко, что ничто не препятствует ему в этом. Европейца в подобной ситуации данные восприятия не могут ввести в заблуждение (по крайней мере надолго), поскольку мысленное обращение к объективированному (пусть даже в самой общей форме) маршруту плавания сразу же разрушит иллюзию неподвижности. Отсутствие же такового у аборигенного мореплавателя не позволяет ему выйти за пределы эго-центрированного перцептивного поля, совершив таким образом своеобразную коперниковскую революцию в миниатюре.

Еще один показательный пример технической деятельности в традиционном обществе – причем деятельности, обращаю внимание, чрезвычайно сложной, предполагающей уже наличие в социальной структуре обособленных групп знатоков-специалистов, – связан с производством в Тропической Африке губчатого железа на основе его восстановления в так называемых (и, надо сказать, называемых неверно с точки зрения химических процессов) «домнах». Этот пример приводит, в частности, О. Леруа<sup>70</sup> в опровержение гипотезы Л. Леви-Брюля о «прелогическом» и «мистическом» характере «первобытного мышления», работающего якобы по законам «партиципации».

Гипотеза Л. Леви-Брюля, изложенная им в ряде работ<sup>71</sup>, несомненно заслуживала самой серьезной критики, но все дело в том, с каких позиций она велась (и ведется подчас до сих пор) и насколько сама эта критика методологически корректна. У О. Леруа она практически полностью свелась к простой демонстрации хитроумного устройства африканской «домны», что было призвано прямо свидетельствовать в пользу «научного детерминизма», которому бессознательно следует «первобытный ум». Лишним подтверждением этому должен был, по всей видимости, стать приводимый автором чертеж «домны» (да еще в разрезе, да еще и с обозначением всех химических компонентов), после чего уже совершенно естественным и закономерным становился конечный вывод о принципиальном сходстве традиционной технической деятельности с современной: в обоих случаях, по мнению О. Леруа, мы имеем перед собой разные по степени, но все-таки сходные по своей сути проявления одного и того же «научного ума» (*de l'esprit scientifique*).

Судя по всему, приводя без всяких оговорок чертеж «домны», критик Леви-Брюля просто не отдавал себе отчета в диагностическом характере такого рода документов, требующих для своей трансляции совершенно особых, надстраивающихся над практической деятельностью информационных каналов. Ведь все различие между технической деятельностью симпрактического и теоретического толка как раз и состоит именно в том, что в первом случае артефакт объективно представлен в культуре в единственном числе (в виде, положим, той же реально сооруженной «домны»), тогда как во втором – в двойственном числе, поскольку здесь помимо самого артефакта с необходимостью должен иметься также и виртуальный его прообраз, т. е. соответствующий ему чертеж, над созданием которого действительно потрудились

<sup>70</sup> Leroy O. La raison primitive. Essai de réfutation de la théorie du prélogisme. P., 1927. P. 247–249.

<sup>71</sup> См. переводы: Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Л., 1930; *он же*. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937.

«научный ум», закрепив результаты своего труда с помощью специально разработанного инженерно-конструкторского языка.

Констатация этого факта, делая крайне сомнительными любые попытки до опыта усматривать в том или ином техническом достижении традиционного общества плод работы вневременного «научного ума», требует заменительно проведения каждый раз конкретно-исторического исследования, нацеленного на реконструкцию тех событий и природных обстоятельств, которые спонтанно (без волевого и целенаправленного акта изобретения) могли вплотную подводить к этому достижению и, что не менее важно, способствовать его введению в обычай. В связи с генезисом африканских «домн» подобная реконструкция процессов, приведших в конечном счете к их появлению, на наше счастье, уже проведена в замечательно емкой статье В. М. Мисюгина и З. Л. Пугач. Мне остается только отослать к ней читателя за подробностями и присоединиться к уважаемым авторам, которые, формулируя свои исходные методологические послышки, подчеркнули абсолютную неуместность употребления в данном контексте понятий «изобретение», «открытие» и т. п., указав при этом, что соответствующим явлениям просто не было места в традиционном производстве, где единственным своеобразным изобретателем оставалась сама же традиция<sup>72</sup>.

Итак, поднимаясь по ступеням сложности технической деятельности в традиционном обществе и рассматривая ее с разных сторон, мы не смогли обнаружить ничего, что противоречило бы нашему исходному предположению о том, что в этом обществе производственная практика не требует вербализованного (или объективированного каким-то иным способом) плана деятельности в качестве необходимой своей предпосылки. Как мы видели выше, эмансипации слова от практики не происходит даже в том случае, когда техническая деятельность предполагает предварительное «школьное» обучение и достаточно высокий уровень специализации. Таким образом, правомерным, по всей видимости, будет заключение, что в этой сфере жизни традиционного общества речь, сохраняя контекстуальный характер, не превращается в самостоятельного и полноценного носителя информации, причем никакой нехватки в этом техническая деятельность вовсе не испытывает по причине присущего ей, как я пытался показать выше, свойства автотранслируемости.

---

<sup>72</sup> Мисюгин В.М., Пугач З.Л. Традиционное производство железных изделий в Тропической Африке (по материалам коллекции МАЭ) // Труды Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т. CV. Л., 1978. С. 56.

## Глава 2

### Обрядовая деятельность в традиционном обществе<sup>73</sup>

Важнейшая в типологическом отношении черта технической деятельности в традиционном обществе, ее автотранслируемость, в не меньшей степени присуща и обряду. Он также является и прагматико-исполнительским и информационным действием одновременно. О прагматизме в данном случае приходится говорить хотя бы на том основании, что обряд всегда совершается с какими-то вполне определенными и сознаваемыми целями, реализация которых с точки зрения традиционного социума является столь же необходимым условием для поддержания жизни, как и производственная деятельность. И подобно тому как последняя в силу своей очевидной прагматичности не требует для себя мотивировок, отделенных от повседневного житейского контекста, не требует их и обряд. В обоих случаях конечным оправданием того или иного способа действий служит тривиальная (для нас) ссылка на положительный опыт предков, т. е. на ту же, хотя и прошлую практику.

Выделение второго аспекта обрядовой деятельности, информационного, связано прежде всего с тем, что основным каналом ее передачи от поколения к поколению выступает в традиционном обществе сам непосредственно обряд. Процесс усвоения ребенком важнейших форм обрядового поведения здесь также прямо вплетен в повседневную жизнь. Приобщаясь с первых лет жизни к производственно-бытовой деятельности взрослых, он одновременно начинает в той или иной степени усваивать и сопровождающие ее обряды. Ребенок видит их, моделирует в своих играх, а нередко и прямо принимает в них посильное участие<sup>74</sup>. В результате такого обучения уже шести- и восьмилетние дети в ряде традиционных культур часто оказываются способными к самостоятельному проведению наиболее простых обрядовых операций.

Таким образом, до формального приобщения ребенка к обрядовому миру взрослых его обучение носит в основном симпрактический характер. Картина, судя по всему, не меняется и после прохождения им процедуры посвящения (если, конечно, она вообще имеет место быть). Усвоение обрядовых норм поведения и в этом случае сопряжено с его непосредственным участием в обрядовой же деятельности; техника обучения и здесь опирается не на предварительное внеконтекстное изложение соответствующих норм, сопровождаемое объяснением их смысла, а на тот же показ или рассказ, но неизменно в контексте конкретного обрядового действия<sup>75</sup>. Это приводит к тому, что транслируемая через обряд информация остается нерасчлененной, «сырой»; прошлый опыт передается не в виде вербально артикулированных норм и принципов поведения, а в виде некоторой последовательности действий, включающей субъекта, норму, мотив и т. п. как единый комплекс, ситуацию<sup>76</sup>.

Уже одно только наличие подобного симпрактического информационного канала заставляет предположить, что внутри обрядовой жизни традиционного общества не остается места для отвлеченной от эго-центрично организованной реальности категориальной речи; ей не

---

<sup>73</sup> Выходные данные изданий, которые использовались мной исключительно в качестве источников по русским крестьянским обычаям, обрядам, поверьям и фольклору, приводятся в библиографии, помещенной в конце книги – см.: Список сокращений источников по русской обрядности и фольклору.

<sup>74</sup> О наглядном характере обучения обрядовой деятельности в традиционном обществе см. подр.: Miller N. *The Child in Primitive Society*. L., 1928. P. 124, 137–138, 140–150, 221 и сл.; см также литературу, приведенную в примеч. 56 данного издания.

<sup>75</sup> См.: Firth R. *We, the Tikopia*. L., 1957. P. 148; Turner V. *The Ritual Process. Structure and Anti-structure*. Chicago, 1969. P. 4; Strehlow T. G. H. *Aranda Traditions*. Melbourne, 1947. P. 104–105; Meggitt M. J. *Gadjari among the Walbiri Aborigines of Central Australia* // *Oceania*, 1966. Vol. 36, № 34. P. 200, 292, 301; Stanner W. E. H. *Religion, Totemism and Symbolism* // *Aboriginal Man in Australia*. Sydney, 1966. P. 260–261.

<sup>76</sup> См. подр.: Левада Ю.А. *Социальная природа религии*. М., 1965. С. 108–112.

дано здесь стать самостоятельной и обособленной от практики системой кодов, выйдя таким образом за рамки контекстуальности. Решающим доводом в пользу этого предположения может, очевидно, служить отмечаемая практически всеми этнологами-полевыми крайне ограниченная способность носителей традиционной культуры к словесному описанию обрядового действия и в первую очередь того, что касается смысла последнего.

Хотя на первый взгляд может показаться, что разброс значений достаточно велик – от полного непонимания обращенного к информанту вопроса о смысле его собственного обрядового поведения до достаточно сложных положительных реакций на него, – однако в любом случае реконструируемая исследователем семантическая модель обряда далеко превосходит все возможные туземные объяснения. Последнее обстоятельство особенно подробно было рассмотрено В. Тэрнером, проводившим свои полевые исследования среди африканской народности ндембу. И хотя использованная им методика выявления смысла обрядовых символов путем опроса информантов требует очень существенных оговорок<sup>77</sup>, важно отметить, что он сам прямо связывает неспособность информантов к речевой артикуляции инвариантных характеристик обряда с невозможностью для них выйти за пределы конкретного обрядового процесса<sup>78</sup>.

К сожалению, эта мысль не получила у В. Тэрнера дальнейшего развития, оставшись чисто негативной характеристикой обрядовой деятельности в традиционном обществе. Между тем значительный разрыв, который обнаруживается между исследовательской моделью обряда и ответами информантов, ставит, естественно, перед этнологами вопрос: а чему, собственно говоря, соответствует реконструируемая ими семантика обряда, какой человеческой реальности? И здесь давно уже наметились два основных и прямо противоположных подхода к решению данной проблемы.

Представители первого, структуралистского направления, связанного прежде всего с именем К. Леви-Строса, видят в обрядовом поведении особый тип объективации универсальных логических структур, играющих роль своеобразного текста, стоящего за обрядом и существующего помимо него. Чтобы проиллюстрировать это положение, структуралисты прибегают к своему излюбленному приему – аналогии, утверждая, что соотношение между текстом и обрядом аналогично тому, какое существует между партитурой музыкального произведения и его исполнением. Некорректность подобной аналогии слишком уж очевидна: еще ни один этнолог не держал в руках партитуры обряда, если, конечно, не принять за нее текстов самих структуралистов. Поэтому вводится другое допущение – текст объявляется принадлежностью бессознательного. И с этих позиций работа исследователя-структуралиста по выявлению семантики обряда оказывается чисто комплементарной технической операцией, заключающейся в речевой артикуляции бессознательного текста, в экспликации уже имеющейся в нем цепочки логических переходов. В результате для последовательного структуралиста действительно становится неважным, принимает ли в его работе традиционное мышление форму научного анализа, или же, наоборот, его собственное мышление выступает в мифологической форме<sup>79</sup>. Главное состоит в том, что оба они оказываются взаимопроникаемыми и взаимооб-

<sup>77</sup> В. Тэрнер фактически не учитывает своего собственного возмущающего воздействия, которое он оказывает на традиционную культуру своими вопросами. Между тем должно быть совершенно ясно, что ответ на вопрос, пришедший из культуры исследователя, не может прямо рассматриваться в качестве принадлежащего исследуемой культуре. В этом отношении методологическая позиция Ф. Барта (см. прежде всего: *Barth F. Ritual and Knowledge among the Baktaman of New Guinea*. Oslo-New Haven, 1975. P. 226), работавшего в традиционных культурах как бы скрытой камерой, предпочитая не задавать вопросы, а просто внимательно прислушиваться к тем, которыми задаются туземцы, предоставленные самим себе, выглядит гораздо предпочтительней, несмотря на несравненно большую трудоемкость получения интересующей исследователя информации.

<sup>78</sup> Turner V. *The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu Ritual*. N. Y., 1967. P. 25–27; ср. *Malinowski B. Argonauts of Western Pacific*. N. Y., 1961. P. 83.

<sup>79</sup> Ср. *Lévi-Strauss C. Mythologiques: Le cru et le cuit*. P., 1964. P. 21.

ратимыми благодаря наличию универсальных логических структур, присущих от рождения каждому человеческому существу.

Разумеется, с подобной характеристикой обряда можно согласиться только в том случае, если будет хоть каким-то образом продемонстрировано наличие такого бессознательного текста. Однако по признанию самих структуралистов свидетельством тому могут служить лишь эвристические результаты самого структурного исследования<sup>80</sup>, куда, однако, утверждение о существовании врожденных универсально-логических структур вводится заранее в качестве исходной посылки. Следовательно, постулируемый структуралистами так называемый текст на деле оказывается чисто операционной и принципиально неverifiedируемой категорией, получаемой путем подвешивания квантора существования к логизированной модели обряда. Благодаря этой же процедуре бессознательное неизбежно приобретает у структуралистов логический статус, что имеет решающее значение для их оценки традиционного мышления.

Может показаться, что я слишком упрощаю концепцию структуралистов. Но вот пример из работы Э. Лича, где исследователь, демонстрируя основные идеи и объяснительные возможности структурного подхода, останавливается, в частности, на обрядовом поведении австралийских аборигенов<sup>81</sup>. Начинает он с естественного и, казалось бы, совершенно безобидного утверждения, что современному человеку тотемистический культ представляется совершенно абсурдным. Но таким образом сразу же вводится ложная интеллектуалистская дилемма, которая и разрешается далее Э. Личем через постулирование некоторой «цепочки логических переходов», делающих такую форму обрядового поведения «разумной», как полагает Э. Лич, для австралийского аборигена, а на самом деле делающих ее таковой именно для носителя теоретической культуры, каким, собственно говоря, является сам исследователь.

Всего Э. Лич выписывает в связи с этим восемь в высшей степени логизированных высказываний и правил их соединения, стоящих якобы за тотемистическим обрядом<sup>82</sup>. И далее весь, созданный им текст, он переводит на бессознательный уровень, утверждая, что сложная в дискурсивной форме цепочка логических утверждений «конденсируется» во время обряда в единое и неделимое «сообщение». Благодаря этой исследовательской процедуре анализ приобретает характер замкнутой системы, но одновременно он становится также и полностью неverifiedируемым, поскольку искомая исследователем и, разумеется, обретенная им замкнутость означает, в конечном счете, только одно – полный отрыв от изучаемого предмета и подмену его чисто операционной категорией бессознательно-логического текста.

Следует обратить внимание, что трактовка Э. Личем обрядовой деятельности представляется весьма примечательной в методологическом отношении. Принимая практически все важнейшие посылки структурного анализа, он при попытке создать порождающую модель конкретного тотемистического обряда смог, как это ни парадоксально, вполне обойтись без понятия структуры. Последнее самым естественным образом плавно заменилось у него «цепочкой логических рассуждений», что нельзя объяснить одними лишь особенностями авторского словоупотребления. В проводимой К. Леви-Стросом музыкальной аналогии также прослеживается постоянное смешение понятий структуры и текста, и именно это составляет, на мой взгляд, наиболее уязвимое место всей концепции культурно-антропологического структурализма.

Дело в том, что структурный анализ – по крайней мере в той его форме, в какой он представлен работами К. Леви-Строса и его последователей, – не совпадает и не может совпадать с выявлением и анализом действительно наличествующих в человеческом сознании

---

<sup>80</sup> Ср. Leach E. Culture and Communication. Cambridge, 1976. P. 50, 56–57.

<sup>81</sup> Там же. P. 40–41.

<sup>82</sup> О характере этих утверждений читатель может судить хотя бы по первому из них, составлявшему, по мнению Э. Лича, «отправной пункт аборигенной мысли»: «Мы все являемся членами одной социальной группы, поскольку происходим от одного общего предка».

структурных образований. Ведь если мы вслед за структуралистами признаем, что конечная цель гуманитарного опыта, явно понимаемого их лидером по образцу естественнонаучного, состоит в выписывании «системы аксиом и постулатов», внутри которой реальность очевидным образом начинает проявлять определенные закономерности<sup>83</sup>, то в результате мы никогда не сможем получить ничего, кроме самих таких аксиом. Вопрос же о том, как эти последние реально представлены в самих носителях изучаемой культуры, как раскрываемая исследователем системность соотносится с устройством их сознания, останется совершенно незатронутым, так как субъект анализируемой деятельности в его каждый раз культурной определенности и определенности по причине изначально постулируемой универсальности логических структур заранее выводится за пределы проводимого опыта как величина абсолютно незначимая для существа дела<sup>84</sup>.

Последовательное редуцирование человеческого существа до одних исключительно универсально-логических структур и, как следствие, приведение его в эфемерно-бесплотное и вне-культурное состояния как раз и объясняет принципиальную неспособность структуралиста перейти от описания выявляемой в обрядовом поведении системности к описанию реальных процессов, приводящих к ее порождению. Пример Э. Лича служит тому еще одним подтверждением. Сделав отправным пунктом своего исследования «цепочку логических рассуждений», он тем самым вернулся, в сущности, на позиции тех ученых XIX века, которые – из лучших, замечу, побуждений – видели в «дикаре» прирожденного философа. Разница заключается лишь в том, что в его представлении фигура философствующего «дикаря» приобрела существенно противоречивые черты – «дикарь» оказался философствующим бессознательно.

Резюмируя все сказанное, можно утверждать, что подход структуралистов не ведет к решению интересующей нас проблемы. До опыта постулируя существование «бессознательно-логического текста», выступающего якобы в обряде в качестве «сообщения», они тем самым вообще снимают проблему речевой его артикуляции как принципиально значимой в типологическом отношении процедуры. В итоге остается совершенно непонятным, почему же члены традиционных обществ оказываются неспособными к речевой артикуляции своих «бессознательных текстов» и где же вообще находится тот порог сознания, который отделяет знание традиционных культур от знания современной науки<sup>85</sup>.

Второе направление в изучении семантики обряда, которое структуралисты несколько пренебрежительно называют эмпирическим<sup>86</sup>, выглядит, по-моему, гораздо предпочтительней. Его представители начинают не с априорного постулирования «бессознательно-логического текста», предшествующего якобы обрядовой деятельности, а, по возможности, с объективного описания последней. Используя методiku, впервые сформулированную еще А. Р. Рэдклифф-Брауном, они стремятся выявить системные закономерности на уровне самих обрядовых действий. И хотя в рамках данного направления вопрос о том, как эта системность представлена в сознании носителей традиционной культуры, остается практически неразработанным, для нас уже важно, что она по крайней мере не рассматривается здесь до опыта в качестве непосредственного отражения неких врожденных универсально-логических структур.

Так вот, развивая далее методологические посылки эмпирического анализа<sup>87</sup>, я в какой-то степени и постараюсь восполнить этот пробел в надежде выявить тот уровень челове-

<sup>83</sup> *Lévi-Strauss C. Mythologiques: Le cru et le cuit. P.18, 20.*

<sup>84</sup> Там же. P. 19–20.

<sup>85</sup> Не случайно, что с точки зрения структуралистов весь процесс исторического развития культуры сводится к самораскрытию «универсальных логических структур», объективирование которых в обрядово-мифологической или научной форме зависит от в общем-то чисто случайных внешних обстоятельств (см.: *Lévi-Strauss C. Mythologiques: Du miel aux cendres. P., 1966. P. 408).*

<sup>86</sup> *Leach E. Culture and Communication. P. 5.*

<sup>87</sup> Краткое изложение основных методологических установок «эмпирического» направления см. в работе: *Goody J. Death,*

ского естества, с которым следует, по всей вероятности, связывать явно обнаруживающую себя в обрядовом поведении носителей традиционной культуры системность. В ходе решения этой задачи центральными для нас будут два конкретных вопроса. Первый из них непосредственно касается основного постулата культурно-антропологического структурализма о произвольности и немотивированности соотношения означающего и означаемого. Это положение, нуждающееся, несомненно, в определенных ограничениях и в области лингвистики, откуда оно было некритически заимствовано, является абсолютно неверным для обряда. Как я постараюсь показать, значение, которое приобретает то или иное действие внутри обрядовой семиотической системы, заранее предопределено (и причем весьма жестко) присущей самому конкретному действию смысловой потенцией. Рассмотренная с этой точки зрения, обрядовая деятельность предстанет уже перед нами не как процесс объективации универсально-логических структур, для которых окружающий мир является лишь пассивным строительным материалом<sup>88</sup>, а как активный процесс построения адекватного обрядового поведения, рождающегося на стыке семантической потенции действия, остающейся неизменно за порогом сознания, и общей оценки обрядовой ситуации, прагматический смысл которой – ради чего, собственно говоря, обряд совершается, – напротив, всегда хорошо осознается и легко вербализуется информантами.

Второй принципиально важный вопрос касается чрезвычайно употребительного (но от этого не делающегося более осмысленным) слова *представление*, которое привычно используется исследователями (причем самых разных направлений) в целях объяснения (задним, подчеркну, числом) того или иного обрядового поведения носителей традиционной культуры. Объяснительная схема при этом проста до примитивности. Почему, скажем, те совершают то или иное обрядовое действие? – «Да потому, что у них такие-то и такие-то представления». Или несколько иначе: «Потому, что они верят в то-то и то-то (или считают, что...; полагают, что... и т. п.)». Но если это так, если носители традиционной культуры действительно имеют *такие* представления и руководствуются ими при совершении обряда, если они действительно *так* считают и *так* при этом полагают, то почему же тогда они, как правило, не в состоянии изложить эти самые свои суждения, когда их просят об этом исследователи-полевики? И здесь опять ответ готов заранее: «Забыли. Когда-то в прошлом, в стародавние времена, помнили, а сейчас просто забыли».

Подобная объяснительная конструкция, вполне, надо сказать, ожидаемая от исследователей-гуманитариев, склонных под постоянным прессингом пред-рассудков теоретической культуры произвольно игнорировать смысловую сторону самих предметных действий, представляется совершенно неудовлетворительной. Утверждая это, я тем самым несколько не ставлю под сомнение способность человека традиционного общества и думать, и считать, и полагать, и верить и т. п. Я просто хочу сказать, что за артикулируемыми словесно представлениями, оформленными в виде суждений, всегда лежит гораздо более мощный, образованный глубинными пред-рассудками пласт неоречевленной человеческой мысли, который лишь иногда явным образом выходит на поверхность (в виде тех же, положим, суждений), но гораздо чаще обходится даже без этого, решающим, тем не менее, образом сказываясь на поведении человека.

В методологическом плане последнее утверждение означает, что полное отождествление смыслового содержания обрядового действия с его осмысленным рефлексивно смыслом не имеет под собой, в сущности, никаких сколько-нибудь серьезных оснований, если, конечно, не рассматривать только в качестве серьезного основания одну безусловно вредную нашу привычку непременно усматривать за любым состоявшимся делом слово и привычно не заме-

Property and Ancestors. A Study of Mortuary Customs of the Lodagaa of West Africa. Stanford, 1962. P. 38–39.

<sup>88</sup> Ср. Lévi-Strauss C. Structural Anthropology. N. Y., 1967. P. 207.

чать, что и наше-то собственное слово, включая и идеологическое, чаще всего лишь оправдывает задним числом спонтанно выстраиваемое нами поведение. По крайней мере случай с обрядовой деятельностью с полной определенностью свидетельствует о том, что рефлексивная осмысленность смысловой стороны действия вовсе не является в данном случае обязательной. Ведь для агенса благодаря все той же функциональной проприоцепции оно и без того может обладать вполне ощутимым (в буквальном смысле этого слова) смысловым потенциалом, который, приобретая по ходу обряда побудительное значение, остается, тем не менее, в своей исходно неотчетливой, дорефлективной и соответственно не артикулированной словесно форме. И именно этой неотчетливой формой объясняется, в частности, чрезвычайно ограниченная способность носителя симпрактической культуры к внеконтекстному описанию совершаемого им обрядового действия, и в первую очередь того, что касается смысла последнего.

Вот один поясняющий пример. Нам привычно объяснять широко распространенный обычай, по которому вместе с покойником одновременно кладут в могилу ряд принадлежавших ему предметов, бытующими в самых разных культурах представлениями о будущей загробной жизни человека, не задумываясь, однако, при этом, а сами-то эти представления откуда у них взялись – с неба, что ли, упали? Думается, что порядок объяснения здесь следует изменить на противоположный: сначала спонтанно (но вполне тем не менее мотивировано) совершается действие (причем для агенса, *существа*, несомненно, *разумного*, уже заранее можно полагать, не бессмысленное), а уже оно, будучи спонтанно совершенным и ставшим уже реальностью, мотивирует, в свою очередь, появление и соответствующих представлений, прагматически его оправдывающих.

Возможность подобного перевертывания при генетическом толковании данного обычая обусловлена тем, что и орудия труда, регулярным образом включающиеся в схему тела человека и соответственно распредмечивающиеся в его чувственной плотской ткани, и обиходные бытовые артефакты, столь же регулярно делающиеся востребованными его определенные телесно-двигательные возможности и подверженные аналогичному распредмечиванию, всегда стремятся вступить с агенсом в отношение так называемой неотчуждаемой принадлежности, которое при благоприятных обстоятельствах может, как об этом свидетельствуют источники, непосредственно заявить о себе в переживании собственности – и отдельным человеком и всей культурой в целом – в качестве прямого продолжения плоти ее владельца<sup>89</sup>. И этого, как кажется, уже достаточно для того, чтобы спонтанно, но вполне в то же время мотивированно хоронить вместе с покойником принадлежавшие ему инструменты и бытовые артефакты с последующим и, надо сказать, совершенно естественным теперь прагматическим объяснением – ради будущей его благополучной жизни после смерти.

А теперь другой пример, прямо противоположного уже свойства, когда действие спонтанно вроде бы и совершается, а возникновение соответствующих представлений, которые прагматически оправдывали бы его, наоборот, блокируется культурой по тем или иным основаниям. Вот наших мужиков (дело происходит в XIX веке) застает в поле гроза. Дальнейшее

<sup>89</sup> О характерном для архаических культур переживании собственности как телесной плоти ее владельца см. подр.: *Леву-Брюль Л.* Выражение принадлежности в меланезийских языках // Эргативная конструкция предложения. М., 1950; *Goody J.* Death, Property and Ancestors... P.. 198–200; см также примеч. 326. Попутно замечу, что качество расширенной плоти в состоянии были приобретать не только отдельные инструменты или обиходные бытовые артефакты, но и предельно насыщенное и тем и другим все человеческое жилище в целом, как наша, положим, крестьянская изба, являющаяся вместе с примыкающим к ней крытым двором средоточием всех обиходных предметов и практически всего хозяйственного инвентаря. Уместно в связи с этим привести рассуждения П. Флоренского, развивавшего идеи упомянутого выше германского философа техники Э. Каппа: «По замыслу своему жилище [архаичное. – В. Р.] должно объединить в себе всю совокупность наших орудий – все наше хозяйство. И если каждое орудие порознь есть отображение какого-либо органа нашего тела с той или другой его стороны, то вся совокупность хозяйства, как одно организованное целое, есть отображение всей совокупности функций органов [...] Следовательно, жилище имеет своим первообразом все тело [...] Тело уподобляется жилищу, ибо самое жилище есть отображение тела» (*Флоренский П.* Органопроекция // Декоративное искусство СССР. 1969, № 12. С. 41)

их поведение в силу, как принято говорить, обычая (а я с опережением скажу – в силу наличествующей в культуре системы пред-рассудочных ожиданий, в которой понятия жены и всякого рода нечисти образуют единый семантический пучок<sup>90</sup>) определяется тем, помыли ли они свое причинное место после сношения минувшей ночью с женой, или нет («Помилуй Бог, если не помывши, Божья воля (гроза) убьет»). Если помыли, то просто ищут укрытие от дождя. Но если кто-то из них не сделал этого, то сначала он постарается найти поскорее воды, чтобы исправить свою промашку, и только потом будет вести себя согласно обстоятельствам (Завойко 1914, с. 172).

Логика построения поведения представляется здесь в целом достаточно прозрачной. Илья-пророк, пуская с небес громы, побивает на земле всякую поганую нечисть, начиная с чертей, бесов, леших, водяных и кончая разного рода гадами. И в это крестьянин действительно верит, причем сразу же и бесповоротно. Спроси его, и он наверняка так же приблизительно и сказал бы<sup>91</sup>. Кроме того, судя по его поведению, в данной конкретной ситуации состоявшееся минувшей ночью сношение с женой явно переживается им сейчас как очень сильное осквернение, опасно для жизни сближающее его с нечистой силой и требующее поэтому срочного очищения<sup>92</sup>. Отсюда, если оставаться в привычной объяснительной парадигме, недолго прийти к заключению, что, по представлениям русских крестьян позапрошлого века, жена была сродни этой самой нечистой силе. Все бы вроде хорошо. Да только в таком случае, если бы наши крестьяне действительно верили в это, зафиксировав свою веру в виде словесно артикулированного суждения и приняв его совершенно всерьез, читательская моя аудитория скорее всего, по крайней мере, ополовинилась бы, поскольку под вопросом оказалось бы деторождение у русских. Ведь вряд ли кто-либо из наших крестьянских предков согласился хотя бы одну ночь провести с подобной мерзостью, если, конечно, не приписать им только совсем уж непотребные и извращенные половые наклонности.

Все, однако, сразу же встанет на свои места, если мы, вспомнив о введенном ранее понятии потенциального текста культуры, вместо того, чтобы говорить о мужичьей вере в бесовскую (буквально) породу своих баб, просто скажем, что в русской крестьянской традиции понятие жены с очень большой степенью вероятности стало ожидать на уровне пред-рассудков понятие нечисти (а как мы увидим вскоре – и покойника, которое, судя по всему, было генетически исходным для конкретных отрицательных коннотаций *жены*). И эта потенция могла спонтанно актуализироваться лишь избирательно – только в определенных по своему смыслу внешних ситуациях, игравших по отношению к ней роль своеобразного спускового крючка. И только в этих конкретных ситуациях обоюдное пред-рассудочное ожидание «жены» и «нечисти», минуя стадию словесной артикуляции (т. е. не порождая оречевленного представления о том, что жена действительно принадлежит поганому отродью), могла, тем не менее, прямо

<sup>90</sup> Чтобы избежать возможных недоразумений, стоит, наверное, заранее предупредить читателя, что мое понимание семантического пучка, которому я буду следовать далее, радикально отличается от бытовавшего в так называемой палеонтологической школе известного яфетолога Н.Я. Марра. Если с точки зрения Марра и его последователей мифологов (И.Г. Франк-Каменецкий, О.М. Фрейденберг и др.) семантический пучок образуют эквивалентные по смыслу понятия, то в моей интерпретации – понятия, которые на уровне потенциального текста культуры пред-рассудочно ожидают и предполагают друг друга с предельно высокой степенью вероятности.

<sup>91</sup> О поверьях, связанных с побиванием Ильей-пророком земной нечисти, см. подр.: *Макашина Т.С.* Ильин день и Илья-пророк в народных представлениях восточных славян. – Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982. С. 95–96.

<sup>92</sup> Одним из оснований для подобного рода переживаний вполне могли служить превосходно выявленные Т.А. Бернштам специфические особенности женских обрядовых функций, обеспечивавших успешность сельскохозяйственных и прочих сельских работ (см.: *Бернштам Т.А.* Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. Л., 1988. С. 146–151). Из проведенного ею анализа следует, что в то время как обрядовая функция мужчин заключалась прежде всего в установлении связи посредством молитвенного слова с верховными силами, от которых зависел урожай, т. е. со стихией солнца/огня, или в персонифицированном виде – с Ильей и Егорием (там же, с. 139), обрядовая роль женщин, напротив, заключалась в установлении связи с хтоническими силами, причем уже не посредством молитвенного слова, а скорее слова-заговора. В этой же связи можно также упомянуть и такое типично женское занятие, как гадание, требовавшее подчас даже снятия нательного креста и проводившееся нередко в бане, характеризующейся отсутствием в ней образов.

заявить о себе в виде вербально не оформленного субъективного регулятора поведения<sup>93</sup>, с успехом заменявшего собой, как это и положено в симпрактической культуре, объективированную тем или иным способом и категориально обоснованную поведенческую норму.

Нетрудно заметить, что оба сформулированных выше вопроса, подлежащих теперь предметному рассмотрению, касаются, хотя и с разных сторон, общей проблемы построения адекватного обрядового поведения. В связи с этим обратимся к материалам русской крестьянской патриархальной традиции XIX – начала XX века. Выбор материала обусловлен в данном случае не только доступностью самого широкого круга источников, подчас совершенно уникальных по детальности описаний, но и тем чрезвычайно важным для нас обстоятельством методологического порядка, что моделирование процессов активного построения обрядового поведения будет таким образом основываться на данных, которые согласно общепринятым исследовательским установкам полностью исключают саму возможность подобного предприятия.

Почти все исследователи русской крестьянской обрядовой традиции видят в ней механическое воспроизведение (просто по заведенному издревле порядку) сложившегося в отдаленном прошлом некоторого творческого первообраза, чей изначальный смысл давным-давно забыт последующими поколениями. Соответственно проблема генетических корней обряда если и ставится, то решается, как правило, в диахронической перспективе – за счет постулирования возникших во время оно представлений, которые, с точки зрения исследователя-гуманитария, невольно ведомого типичными для представителей теоретической культуры пред-рассудками, могли бы разумно оправдать его возникновение. Я же наперекор сложившейся традиции и вопреки лежащим в ее основе пред-рассудкам, касающимся прежде всего разумности человеческого существа, попытаюсь далее показать, что даже в случае такой твердо устоявшейся и глубоко вроде бы забывшейся русской крестьянской традиции XIX века есть основание говорить об активном построении обрядового поведения, которое, как и все в одушевленном мире человеческой реальности, подчиняется сформулированному еще Н. А. Бернштейном принципу *повторение без повторения* и в котором роль предшествующего образца при оценке адекватности или неадекватности обряду того или иного конкретного действия несмотря на всю очевидную важность не является все-таки решающей.

Чтобы до конца прояснить эту мысль, являющуюся концептуальным средоточием всего проведенного мною исследования крестьянской обрядности, позволю себе в завершение своих предварительных замечаний прибегнуть к небольшому мысленному эксперименту. Представим себе на минуту, что какой-то обряд (положим, свадебный) по неведомым нам причинам забыт, а весь социальный, производственный и бытовой уклад крестьянской жизни остался в то же время прежним. Так вот, в соответствии с моими методологическими установками, которым в дальнейшем я буду неуклонно следовать, даже и в этом случае, когда память отсутствует полностью, можно с уверенностью ожидать, что этот напрочь забытый обряд вскоре восстановится вновь и скорее всего в очень близких, если только не тождественных полностью, формах.

Начну свой анализ с двух наиболее простых для трактовки чисто бытовых действий – с **выметания сора из избы** и **печения хлеба**. В домашней обрядности наших крестьян первое из них прочно связалось с темой отделения, потери, нарушения союза и т. п. Эта потенциально присущая **выметанию** отсоединительная, отрицательная, или, по-другому, дизъюнктивная семантика нашла свое отражение в целом ряде примет и обычаев, из которых я исключительно

<sup>93</sup> В том числе – и поведения речевого. Ср. русские народные пословицы типа: *Бабу побить, что в церковь сходить*. Били-то наши мужики своих баб, конечно, и за дело и без дела, но во всяком случае не потому, что видели в них бесовское действительно отродье и хотели как истые борцы за веру православную пострадать за нее, сведя эту нечисть с белого света. А вот облегчающее душу оправдание битью, пусть и ироническое, выстраивается в пословице весьма показательно. Битье жены как некая очистительная процедура явным образом приравнивается здесь по смыслу к хождению в церковь, что представляется вполне закономерным для потенциального текста культуры, в котором понятия «жена» и «нечисть» образовывали своими ожиданиями единый семантический пучок.

в целях предварительной демонстрации приведу здесь лишь самую незначительную часть: когда метут избу, нужно всячески избегать того, чтобы оказаться «заметенным» – в противном случае тебя не будут любить девушки (Балов 1901, с. 101), вообще люди (Ефименко 1877, с. 173), не возьмут в кумовья (Никифоровский 1897, с. 83), будет неласковая теща (Ефименко 1877, с. 179); оставляющие дом жильцы не должны выметать сор, если непосредственно вслед за ними туда въезжают новые, – иначе им не избежать напрасных ссор (Резанов 1903, с. 71; ср. Никифоровский 1897, с. 140); нельзя мести пол после отъезда близкого человека, чтобы окончательно «не вымести его» (Чернышев 1901, с. 310; Ефименко 1877, с. 184; Авдеева 1842, с. 116); чтобы не ушло богатство, нельзя выметать сор из избы вечером (Даль 1904, с. 202; Иванов 1892, с. 916; Малыхин 1861, с. 295 и т. д.) и особенно под Новый год (Крачковский 1874, с. 166); по той же причине нельзя мести пол разными вениками (Даль 1904, с. 202); чтобы предохранить себя от опасных последствий выметания, следует всякий раз сопровождать его специальной молитвой-заговором<sup>94</sup> и т. д.

Далее мы еще не раз вернемся к теме выметания в контексте самых различных обрядовых ситуаций. Однако этот дополнительный материал лишь подтвердит то, что обнаруживают вышеприведенные примеры: в русской обрядовой крестьянской традиции за **выметанием** закрепились резко выраженная дизъюнктивная семантика. Непосредственной предпосылкой к этому служило то обстоятельство, что предметные схемы **выметания** в силу своей отрицательной векторной направленности (веником мели, естественно, *от себя*) сами по себе, по своей внутренней моторике, оказывались потенциальными носителями дизъюнктивного смысла. **Выметание** формировало отчетливую семантическую неоднородность осваиваемого пространства, трансформируя исходно нейтральный и изотропный топос в субъективированное поле с явным структурным центром, периферией и центробежным вектором действия. Разумеется, данная моторная топология с присущей ей отрицательной векторной направленностью являлась лишь потенцией смысла, однако именно эта ее *от себя*, так сказать, направленность весьма жестко запрограммировала практически весь возможный набор дизъюнктивных смысловых оттенков, которые **выметание** могло принимать в ходе обрядовой деятельности в самых разнообразных жизненных ситуациях.

**Выметанию сора из избы** в семантическом отношении противостояло **печенье хлеба**. Это было типичное соединительное действие. Правда, в отличие от **выметания** своей смысловой потенцией оно было обязано не предметным схемам конкретного действия, а всему производственно-бытовому комплексу сельской жизни. Как известно, крестьянская семья кормилась с земли, распределявшейся миром по едокам<sup>95</sup>. В этих условиях **выпечка хлебов** (а они пеклись обычно раз в неделю на всю семью), отражая совместный и нераздельный способ ведения хозяйства, неизбежно приобретала положительную семантику соединения<sup>96</sup>. В повседневной крестьянской жизни это резче всего проявлялось в абсолютной несочетаемости **печенья хлеба** с определенными ситуациями и действиями. Например, запрещалось печь хлеб до выноса покойника из избы (Зеленин 1915, с. 601, 755; Зеленин 1916, с. 1179; ср. Юркевич 1853, с. 290); запрещалось печь хлеб, когда вот-вот ожидался роды, – неисполнение этого

<sup>94</sup> О дизъюнктивном характере этих последствий можно судить по содержанию молитвы-заговора: «Святая хижина, на святом месте поставленная, святою крышею покрытая, впереди-то Господи, по краям апостолы» (Доброзраков 1875, с. 211). В данном случае выметание явно представляется сознанию как действие, размыкающее, подобно открытой двери, внутреннее домашнее пространство избы и требующее поэтому некоторой компенсации в виде специальной оградительной молитвы-заговора.

<sup>95</sup> Как отражение этого ср. здесь пословицы типа: «Родится роток, родится и кусок», «Родится роток – и краюшка хлеба готова» и т. п. (Даль 1904, с. 53).

<sup>96</sup> Ср. от противного обычай, который соблюдался при разделе крестьянского хозяйства. По сообщению И.Я Неклепаева, «перед дележом все участвующие садятся за стол, на стол кладется каравай хлеба, и старшие разрезают его на части по числу делящихся, а затем приступают к дележу, который соизмеряется с разрезанным хлебом» (Неклепаев 1903, с. 180; Колосов 1903, с. 367).

предписания грозило новорожденному скорой смертью (Добрынкин 1867, с. 67); наоборот, когда хлеба сажали в печь, не следовало ради сохранения семейства «ходить дверьми» (Ефименко 1877, с. 184), т. е. входить и выходить из избы (Крачковский 1874, с. 186); во время выпечки хлеба нельзя было мести избу – «спорынью выметешь» (Даль 1904, с. 202) и т. п. По сути дела, во всех этих случаях мы сталкиваемся с отрицанием (*нельзя*) положительно-соединительного действия (*печь хлеб*) в контексте отрицательных, дизъюнктивных по смыслу ситуаций: *когда домашние еще с покойником; когда домашние пока без новорожденного; когда открытая дверь нарушает замкнутость домашнего мира; когда совершается размыкающее домашний мир выметание.*

Поскольку в обрядово-бытовой деятельности крестьян за **печением хлеба** закреплялась отчетливо переживаемая соединительная семантика, то теперь любая неудача в его выпечке с очень большой долей вероятности должна была наводить в сознании тему отсоединения. Это обуславливало порождение целого ряда примет, где подобная неудача прямо рассматривается как очевидный знак скорой дизъюнкции, например: забытый в печи хлеб – к покойнику (Смиречанский 1871, с. 129); треснувший в печи хлеб – к отлучке кого-либо из семейников (Даль 1904, с. 199; ср. Манжура 1894, с. 188) или к покойнику (Шейн 1890, с. 582; Зеленин 1915, с. 793; Крачковский 1874, с. 198); непропеченный хлеб – к отлучке хозяина или к разорению (Иванов 1892, с. 980); перевернувшийся в печи хлеб – к близкой смерти или какому другому несчастью (Милорадович 1902 (6), с. 402); хлеб, упавший вверх дном с лопаты, – к покойнику (Виноградов 1923, с. 269; ср. Никифоровский 1897, с. 95) и т. п.<sup>97</sup>

Основное, что я пытался продемонстрировать на простейших примерах **выметания сора из избы и печения хлеба**, состоит в том принципиально важном для нас обстоятельстве, что оба эти действия пусть и по разным основаниям, но тем не менее обладали вполне определенной смысловой потенцией – соответственно соединительного и отсоединительного свойства – еще до всякого их вхождения в обряд<sup>98</sup>. Роль этого фактора в построении всего обрядового поведения трудно переоценить, поскольку, повторю еще раз, именно на стыке смысловой потенции действия и прагматической оценки общей обрядовой ситуации как раз и рождалась адекватная поведенческая реакция.

Говоря чуть выше о неуместности выпечки хлебов в дизъюнктивных бытовых контекстах, мы коснулись уже немного этого центрального для нас понятия адекватности и вот теперь, чтобы яснее и объемнее представить его многоплановые импликации, обратимся к более сложным видам обрядовой деятельности, рассмотрев под этим углом зрения русскую свадебную и похоронную обрядность.

Начнем с последней. Основную парадигму погребального обряда, призванного отсоединить умершего родственника от мира живых, образовывали такие отрицательные, дизъюнктивные по своей внутренней моторике обрядовые действия, как обмывание покойника, вынос тела и его захоронение. Помимо этого в ряде случаев сюда же попадало мытье избы и омовение родственников после похорон (Авдеева 1842, с. 122; Ефименко 1877, с. 135; Завойко 1914, с. 96–97 и т. д.). Наличие в обрядовой деятельности подобной парадигмы приводило к тому, что

<sup>97</sup> Замечу, что хлеб, увиденный во сне, попадает в этот же ряд, приравняв к хлебу, неудачно испеченному наяву. В сонниках он также истолковывается как предвестник скорой смерти кого-нибудь из близких (Сумцов 1885, с. 88).

<sup>98</sup> Судя по всему, выделение двух типов обрядовых реакций, соединительных и отсоединительных, не есть чисто операциональная процедура. В них, надо думать, находит свое конечное выражение суть телесного устройства любого позвоночного существа, отвечающая общему физиологическому закону работы скелетной мускулатуры, по крайней мере в том его виде, как он сформулирован И.П. Павловым, «[...] движение ко всему, захватывание всего, что сохраняет, обеспечивает целостность животного организма [...], – положительное движение, положительная реакция; и, наоборот, движение от всего, отбрасывание, выбрасывание всего, что мешает, угрожает жизненному процессу [...] – отрицательная реакция, отрицательное движение» (цит. по: Макаренко Ю.А., Зотов Ю.А. Психофизиологические аспекты взаимодействия двух систем разного биологического качества // Теория функциональных систем в физиологии и психологии. М., 1978. С. 296). Ср. аналогичные по смыслу термины в англо-американской физиологической литературе: реакции приближения – избегания (approach – escape, avoidance reactions).

понятие смерти помимо всего прочего оказывалось также представленным в сознании устойчивым пучком отрицательных, центробежно направленных двигательных схем<sup>99</sup>. Проецируясь в биодинамическую чувственную ткань, оно при этом сцеплялось не просто с конкретными в топологическом отношении схемами предметных действий, а с их инвариантной отрицательной векторной направленностью (*с-мывание, вы-несение* и т. п.). И именно поэтому обрядность похорон могла расширяться за счет маркировки других центробежных, но топологически отличных действий, в частности, это коснулось и **выметания сора из избы**.

Центробежная направленность данного действия и соответственно его дизъюнктивная смысловая потенция делали вполне вероятным превращение **выметания** в обрядово значимое и совершенно уместное в контексте похорон событие. Реализовываться эта потенция могла и в приурочении выметания сора к моменту выноса покойника из избы (Юркевич 1853, с. 290; Куликовский 1890, с. 53; Куликовский 1894, с. 417; Балов 1898, с. 90)<sup>100</sup>, и в производном от этого запрете выметать сор до выноса умершего (Герасимов 1900, с. 136; Завойко 1914, с. 93; Богатырев 1916, с. 70; Зеленин 1915, с. 601, 755; Зеленин 1916, с. 1179), и наконец, в преобразовании запрета на выметание, представлявшего собой отрицание отрицательного действия, в положительное метение вовнутрь – пока покойник лежал в избе, сор не выносили, а заматали под лавку (или под стол) с умершим (Завойко 1914, с. 93; Куликовский 1890, с. 53; Шейковский 1860, с. 30; Чубинский 1877, с. 706)<sup>101</sup>.

С точки зрения пространственных решений – в которых, замечу, находила свое частное выражение универсальная оппозиция *свой / чужой* – покойник оказывался столь же отторжимой частью дома, как и выметаемый сор. Их известная смысловая эквивалентность на уровне дизъюнктивной, *от себя* направленной внутренней моторики делала возможным дальнейшее расширение погребальной обрядности, с одной стороны, за счет захоронения сора<sup>102</sup>, а с другой – за счет реального пространственного сближения покойника с веником. «Чтобы покойник не вернулся», его могли бросать вслед выносимому из дома гробу (Рабинович 1978-а, с. 266); из веника делали изголовье в гроб<sup>103</sup>; листьями от веника набивали для покойника подушку (Карский 1916, с. 298; Неклепаев 1903, с. 227; Смирнов 1920, с. 31); ими же могли устилать дно гроба (Архангельский 1854, с. 24; Фролов 1885, с. 22; Кремлева 1980, с. 24; Богословский 1924, с. 74; Шейн 1890, с. 563).

Состоявшееся внутри обрядовой деятельности сцепление понятий выметания, покойника и смерти в едином семантическом пучке<sup>104</sup> являлось, очевидно, наиболее продуктивным, но, несомненно, далеко не единственным событием, которое влекло за собой расширение похоронной обрядности. Понятие смерти, окруженное пучком центробежных моторно-топологических предметных схем с их неизменной отрицательной векторной направленностью, делало в принципе адекватным похоронам любой поведенческий акт – при одном обязательном усло-

<sup>99</sup> Если использовать выражение М. Чехова, можно, видимо, сказать и так: за словом *смерть* стоит «невидимый психологический жест», и конкретнее – «общий жест отталкивания», который непроизвольно отзывается в нашем строении при этом слове, придавая ему чувственно окрашенный и ярко переживаемый негативный смысл; об идее общего психологического жеста, скрывающегося за частными бытовыми жестами и словами как их невидимый прообраз, см. подр.: Чехов М. О технике актера. Б. м., 1946. С. 63–64.

<sup>100</sup> Выметание сора вслед за покойником, чтобы тот не вернулся за домашними, могло дублироваться закрытием ворот сразу после выноса тела со двора (Машкин 1862, с. 81).

<sup>101</sup> Большой дополнительный материал вместе с западно-славянскими параллелями содержится в работе: Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования. М., 1982. С. 211–212. Здесь, в частности, приводится и наиболее популярная в Полесье мотивировка выметания сора вслед за выносимым гробом – «чтобы покойник не возвращался».

<sup>102</sup> Запись этого обычая, сделанную О.А. Седаковой, приводит Л.Н. Виноградова (Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. С. 212).

<sup>103</sup> Зеленин 1914, с. 387. Ср. здесь литовский обычай класть веник под подушку тяжело умирающему, чтобы тот поскорее и легче отошел в иной мир (Янулайтис А. Литовские суеверья и приметы // ЖС. 1906, вып. 4. С. 193).

<sup>104</sup> Ср. здесь примечательное в этом отношении толкование сна: выметать сор из избы – к покойнику (Смирнов 1920, с. 24).

вии, чтобы и он обладал тем же самым вектором действия. Значимым, положим, становилось направлять иглу при шитье савана непременно от себя (Чулков 1786, с. 285; Ефименко 1877, с. 135; Иваницкий 1890, с. 115; Куликовский 1894, с. 416; Зеленин 1916, с. 1116, 1252 и т. д.); таким же образом предписывалось работать рубанком при изготовлении гроба (Зеленин 1916, с. 1252). Кроме того, по тем же основаниям в контексте погребального обряда мог приобретать значение любой акт разъединения вообще<sup>105</sup>, и, наоборот, за его пределами любое разъединение превращалось потенциально в знак смерти<sup>106</sup>.

Во приведенных случаях расширение погребальной обрядности шло за счет маркировки только тех предметных действий, моторно-топологические схемы которых уже сами по себе, т. е. по своей дизъюнктивной векторной направленности, являлись адекватными отсоединительной семантике похорон. Однако отсоединительному смыслу погребального обряда в не меньшей степени могли также соответствовать и такие действия, которые, напротив, обладали отчетливо выраженной положительной семантикой соединения. Объясняется это тем, что смысловому инварианту *отсоединения* (*мертвого от живых*) неизбежно оказывались адекватными положительные действия с семантикой *соединения* (*живых без мертвого*).

В русской обрядовой традиции, как и во многих других, таким положительно-соединительным действием, непосредственно входившим в состав похорон, являлся поминальный обед, в котором принимали участие все близкие и родные покойного<sup>107</sup>. Надо, правда, отметить, что по ряду причин (и не в последнюю очередь под влиянием христианских представлений о душе) похоронные поминки все же могли иногда терять свою смысловую прозрачность и включать в себя элементы кормления покойника. Тем не менее даже в этих весьма редких, судя по описаниям, случаях продолжала в полной мере заявлять о себе тенденция к отстранению умершего от участия в общей трапезе. Это находило свое выражение и в упоминавшемся выше запрете печь хлеб до выноса покойника из избы, и в призываниях души покойного к столу лишь после того, как съедено первое блюдо (Юркевич 1853, с. 290), да и в самих способах инсценировки кормления души покойного. Покойника, как правило, кормили, выливая еду и водку или в угол избы (Зеленин 1915, с. 692), или под стол<sup>108</sup>.

<sup>105</sup> Например, запрещенным становилось разрезание материи при кройке савана – ее следовало непременно разрывать руками (Шейн 1890, с. 540; Иваницкий 1890, с. 115; Мансуров 1928, с. 18; Мансуров 1929, с. 181).

<sup>106</sup> Ср. приведенную выше примету, по которой треснувший в печи хлеб предвещал скорую убыль в семействе, в особенности где был больной.

<sup>107</sup> С этой точки зрения показательным, что поминальный обед в ряде мест мог перерасти в разгульный пир, наподобие свадебного, с общими песнями, плясками, с хождением из избы в избы и т. п. (Зеленин 1914, с. 387, 412; Виноградов 1923, с. 302). В принципе возможны и другие преобразования того же рода. Наиболее показательным из найденного мною является австралийский материал, свидетельствующий о резком возрастании социально-экономической активности участников погребального обряда после захоронения покойника. В это время аборигены «специально готовят большое количество предметов, делают подарки, обмениваются вещами, услугами, выполняют взаимные обязательства» (Берндт Р.М., Берндт К.Х. Мир первых австралийцев. М., 1981. С. 381). Вопреки, однако, мнению авторов, приурочение названных ими действий именно к моменту похорон вовсе не нуждается в прагматических объяснениях социально-экономического порядка, так как все они являются по своей семантике (*соединение живых без мертвого*) вполне адекватными отсоединительному погребальному обряду, и если бы дело обстояло иначе, то вряд ли этим действиям нашлось бы вообще в нем место. В русской обрядовой традиции прямых аналогов такой повышенной социально-экономической активности вряд ли можно найти, однако запрет начинать любые общественные работы, пока покойник не вынесен за пределы деревни (С. У. 1913, с. 66), косвенным образом свидетельствует о том же стремлении отсоединить покойника от живых представителей той социальной группы, к которой он принадлежал.

<sup>108</sup> Седакова О.А. Материалы к описанию полесского погребального обряда // Полесский сборник. М., 1983. С. 257.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.